

Григорий ВАХЛИС ЗОЛОТОЙ ВЕК



Григорий
ВАХЛИС
ЗОЛОТОЙ
ВЕК

БИБЛИОТЕКА «КРЕЩАТИКА»
ПОЕЗІЯ, ПРОЗА, ПУБЛІЦИСТИКА



ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ФЕДОРОВА

Григорий
ВАХЛИС

ЗОЛОТОЙ
ВЕК

Друкарський двір
Олега Федорова
Київ, 2024

УДК 821.161.1'06(477)-32

В 22

СЕРІЯ «Бібліотека “КРЕЩАТИКА”»

Заснована у 2023 році

Вахлис Г.

В 22 Золотой век / Г. Вахлис — Друкарський двір Олега Федорова 2024 — 192 с.

ISBN 978-617-8477-01-1

В книгу Григория Вахлиса вошли две повести, «Золотой век» и «Человек с широко расставленными зубами».

Автор отрицает прогресс не только в искусстве, но и вообще в жизни. Отсюда — художник-оформитель философствующий в захламленном подвале. Ноги под столом на кирпичачах (на полу вода). *Rara temporum felicitate* — как говаривали в древнем Риме, ибо тут, в подвале, подлинная «свобода духа». И потому — век Золотой.

УДК 821.161.1'06(477)-32

ЗОЛОТОЙ ВЕК

(рассказы о художниках)

Жил художник Гамага. Он работал в парке им. Рыльского.

В парке им. Пушкина работал художник Навроцкий. Он делал стойку. Брался правой рукой за спинку стула, левой упирался в сидение и вставал на голову. Ноги его виднелись в окошко. Кальсонов не носил из принципа.

Художник Голинский имел свой метод: шел в магазин «Пропагандист» и покупал нужный плакат. Плакат наклеивал на планшет и покрывал гуашевыми красками. Красную краску покрывал красной, черную — черной...

Прошли годы. Новые технологии не только не опровергли метода, наоборот — обогатили его. Берут нужные предметы и фотографируют. В ближайшей лавчонке с вывеской «Kodak» снимок переносят на холст. На душе становится тепло. Остается только покрыть красную краску красной и т.д. Получается настоящая картина маслом.

Такие штуки стоят до 2000\$ — ежели не торопясь и сильно постараться, а так — 500.

Автор гениального изобретения умер в бедности. Оба его сына — Боренька и Мишенька — стали художниками.

Художник Йоцус работал по пенопласту. Предпочитал твердые сорта как более долговечные. Вырезав пятерку пионеров и пару барабанов, в углу размещал надпись: «Художник Йоцус». Если бы он вырезал просто слово «Йоцус», могли бы что-нибудь подумать. Например, что Йоцус — крайний слева пионер.

В. часто вспоминал Йоцуа.

Наквещав на холсте пяток хасидов и пару менорот¹, он выводил в углу свою подпись, слово «художник» подразумевалось.

Картины раскупались американскими евреями. Им хотелось увезти домой что-нибудь вещественное, конкретное, что можно потрогать, показать. Хасиды, танцующие вокруг менорот, вызывали чувство причастности. Глядя на картину, покупатель мечтал, как вернувшись к себе в Бостон, будет объяснять гостям, что такое «менора», «орла» и «парве».

Художники Островский, Гольцберг и В. ехали в «Запорожье». Машину вел Островский. Гольцберг курил американскую сигарету. В. следил за дорогой. Он видел ее в дыру. Из дыры дуло в пах. Когда колесо попадало в лужу, влетали брызги.

— Крюки с гринами есть? — спрашивал Островский.

— Есть! — отвечал Гольцберг.

— А сигареты американские?

— Есть!

— А ланцы?

— Есть ланцы!

— А гондоны фирменные?

— Только такие, как ты!

Ехали далеко — в Бровары, там была контора, там давали зарплату.

Художник Гольцберг умел рисовать, но плохо. Когда-то, на заре туманной юности, жизнь вынудила его избрать оформительские работы, как наименее тяжелые. Занимался лозунгами, выпускал стенгазету. Но еще на первом году он понял: рисовать — запаadlo. И, освободившись из лагеря, больше не рисовал.

Директора музея А. С. Пушкина и Декабристов поёбывал заместитель по научной части. Оба были пожилыми и очень

¹ Менорот — мн. число от *менора*, (*иврит*) — семисвечник.

порядочными людьми. Оба имели взрослых детей. Он организовал диван и установил его в художественной мастерской младшего брата. Она принесла крахмальные простыни и одеяло в пододеяльнике. Комплект хранился в ящике дивана и назывался «личные вещи Пушкина и Декабристов».

Комплектом белья пользовались: художники Бовшивер, Голинский, Йоцус, В., Бызов и архитектор Кац.

Художник Карпачев не знал о существовании комплекта, и его дамы прилипали к дерматину.

Художник Островский не умел рисовать. Ни карандашом, ни углем, ни пастелью, ни масляными красками. Не умел создавать проекты оформления интерьеров, а также произведения малых форм. Не владел техникой мозаики, витража или какими-либо другими приемами монументального искусства. Диплом художника купил.

Не умел лепить.

Художники Бызов и В. пришли к художнику Островскому. Дверь открыл сам хозяин. Он был в кальсонах оранжевого цвета и синих в черную клетку носках. В прихожей воняло резиной и стоял круглый столик, покрытый белой скатертью. Это были автомобильные скаты.

Там же помещалась женского пола, бронзовая с виду, фигура, почти в натуральную величину.

Откинувшись назад в неистовой пляске, она, вероятно, некогда была в отсутствующий ныне тимпан. Из ее ладони торчал конец арматурного прута. Он был аккуратно покрыт бронзовой краской — как и место отлома. Отсутствовала и правая стопа — там позорно белел непокрашенный гипс. Зрелые формы подросткового роста вакханки напомнили В. третьеклассницу-акселератку Потемкину, о которой он мечтал в пионерские годы.

Художник Голинский всегда клал копиру не той стороной. Затем, стиснув челюсти, медленно переводил рисунок.

Потом снимал шаблон, снимал первый лист копирки и видел белую поверхность. Тогда он лихорадочно разбрасывал листы и кричал.

Любой, услышавший крик Голинского, немедленно прекращал работу.

Художник Карпачев был нудным. Уже через минуту начинал говорить о себе. Либо о своем творчестве. Кроме того, имел легкий дефект речи. Говорил: говова, гваз и гвухой цвет. Оформлял детские книжки, а потом стал писать их сам. Он придумал специального отрицательного поросенка и тем воспитывал положительное. Поросенок хамил, наступал на ноги и т.п., но к концу книжки перевоспитывался. В следующей книжке начинал хамить на первой странице — это было зорким наблюдением художника-бытовика.

Поросенка, как ошибочно считал сам Карпачев, не оценили по достоинству. Книги издавались, они были занимательны и оригинальны. Но Карпачев все равно нудил. Ему чего-то не хватало, а чего, он и сам не знал, но пытался выяснить в беседах.

У него была почти неповторимая техника: Карпачев быстро-быстро водил карандашом по бумаге. Получался пук волос. Потом он начинал «нащупывать форму», наслаивая новые и новые волосы. Получалось очень живо и здорово. Дамы называли Карпачева «импрессионистом». Карпачев не обижался.

Неискушенному В. всегда казалось, что он видит волосатого поросенка. Кроме того, у Карпачева был конкурент — художник Ким Левич. Он тоже был художник детской книги, и у него тоже была волосатая техника рисунка.

В. путал Левича и Карпачева. Вот это уже оскорбляло.

Как и все нудные люди, Карпачев обожал говорить. У него рано развилась привычка физически фиксировать собеседника. Обычно он брал за пуговицу или вцеплялся в рукав.

Кроме того, Карпачев писал маслом. Он говорил «вывопись».

Художник Ярошенко был однофамильцем художника Ярошенко, того самого, что рисовал фигурку в пейзаж Левитана.

Ярошенко учился у художника Навроцкого. Сначала он научился делать стойку на стуле, а потом нарисовал картину: «Эмпайр Стейт Билдинг в бурю» (картон, масло; 20х30 см). Вся поверхность картины была покрыта бурыми мазками. Вверху был прямой угол. Хорошо различимы были только изображения двух чаек — где-то посредине.

Ярошенко дружил с Дейнекой — однофамильцем того Дейнеки, который написал «Оборону Севастополя».

Дейнека не-художник был вялым на вид типом.

В. обычно встречался с ними по дороге на работу, и все трое шли вместе несколько кварталов к пивбару. Там Дейнека продолжал начатый в прошлый раз разговор о нирвикальпсамьяк самбодхи. Иногда он взмахивал рукой, а иногда обеими. К двум часам, не прекращая беседы ни на минуту, они начинали поиски портвейна. К этому времени совесть уже переставала тревожить и разговор набирал настоящую силу. Вокруг стояли, сидели и ходили другие, они ничего не знали о нирвикальпсамьяк самбодхи, но тоже пили портвейн.

Художник Голинский взял два стула и на их спинках расположил планшет. Затем тщательно покрыл его слоем копировальной бумаги. Шаблон он придавил огромными портновскими ножницами и стаканом с засохшим клеем. Можно было приступить к переводу изображения Грузии с шаблона на планшет. Грузия имела вид женщины в национальном костюме. Сверху была надпись: «15 республик — 15 сестер». Внизу слово Грузия по-русски и по-грузински.

— Месроп Маштоц, — автор армянского и грузинского алфавита, — сказал Голинский себе под нос. Потом очинил карандаш и задел ногой стул. Все сдвинулось. Восстановив порядок, он решил сперва поставить ногу на сидение стула и тем придать конструкции жесткость.

— Месроп Маштоц, — начал Голинский и поставил ногу. Стул качнулся на неровности пола. При этом упал стакан с клеем. Сначала из него выпал окурок, а потом стакан упал на пол. Раздался тупой треск. Голинский поднял стакан и поставил на стол. Столярный клей крепко держал осколки. Электричество тускло играло на изломах. Голинский бережно поставил стакан на полку. Затем поднял окурок и аккуратно положил на прежнее место. Работать расхотелось окончательно.

Голинский сел и закурил.

Художник Навроцкий не был членом Союза Художников УССР. Ему было некогда. Тогда его сын собрал работы отца и пошел по инстанциям. Никаких препятствий к приему Навроцкого А.В. в члены СХ УССР не было. За исключением одного: Навроцкий А.В. так и не явился.

— Меня уволили с работы как неприступившего к работе, — сказал художник Уфимович по кличке Тентукил.

До того, как стать художником, Уфимович был шахтером. Кличку получил после избияния членов своей бригады, включая бригадира. Систематически устраивался на работу. Последнее место работы — кинотеатр «Красногвардейский».

Карпачев встретил Ярошенко и принялся ему рассказывать. Ярошенко сперва слушал с интересом, а потом из вежливости. Но тут, потеряв чувство меры, Карпачев взял его за пуговицу. Ярошенко рванулся и сломал Карпачеву ноготь пальца, которым тот имел привычку держать кисточку.

Ярошенко не выносил таких вещей с детства. Строгая мать-одиночка слишком опекала его. До восьми лет водила за руку, причем освободиться от этой руки полностью так и не удалось. Мать хотела знать, где он и с кем. По этому вопросу она могла позвонить на кафедру, а впоследствии и в аспирантуру.

Однажды, еще в восьмом классе, девушка пригласила его на день рождения и там призналась, что он ей небезразличен. Ярошенко был в восторге, но когда он решил выйти на лестничную площадку — покурить с приятелями, девушка приоб-

няла его и произнесла игриво: «куда ты?» и «нечего шляться по подъездам!» Возлюбленный рванулся, как рвутся душевнобольные из рук санитаров, и сломал ей ноготь мизинца. На этом отношения себя исчерпали.

— Мне нужно вывести животных! — говорил Уфимович. Он вставал из-за стола, натягивал огромный кожаный плащ и кепку. Собака и кошка уже стояли в прихожей. Собака был пинчер, с глазами хлебнувшего горя старика. Уфимович брал его на руки и прикрывал дверь. Кошка шла за ним. Собака подымал лапку и кропил золотом грязноватый снежок. Кошка искала, где посуше. Потом Уфимович снова брал пинчера на руки и подымался на третий этаж, в свою двухкомнатную хрущобовку. У него была и жена — маленькая и мелкокостная. Кошка сразу бежала к ней. Пинчер запрыгивал в кресло у телевизора. Уфимович оглядывал свое семейство и садился в другое кресло. Детей у него не было.

Первым учителем художника В. был Яков Покотиловский, начальник планового отдела комбината «Киевгородмление». Он научил правильно составлять сметно-финансовые расчеты.

Кроме того, Покотиловский играл в преферанс и вел учет. Как-то сел и подвел общий итог за 14 лет. Оказалось — выиграл 18 коп.

В глубине же души своей В. считал, что первым его учителем был Борис Дмитриевич Носов (Носач). Носов жил на втором этаже учебного корпуса Киевского художественного института. В его комнате не была предусмотрена ванная, равно как и туалет с умывальником. Ученики брали ведра и ходили «по воду».

Художник Носов оправлялся в таз, предварительно налив немного воды. Затем выплескивал в окно. Он был болен нечетко диагностированными и вовсе неизвестными болезнями, одна из которых не позволяла ему выходить из комнаты. Процедура же приема посетителей выглядела так: встав на табурет,

он выглядывал в небольшое оконце, расположенное прямо над дверью, недоверчиво хмурился и принимал решение, о котором не сообщал. Гости стояли (иногда долго) в глухом коридоре, в сереньком свете упомянутого оконца, ожидая результатов осмотра. Если дверь открывалась, пришедший попадал в узкое помещение, пол коего был застелен картоном, т.к. в зимнее время стояние на холодном цементе вызывало приступ ревматизма. По этому же поводу хозяин носил валенки, которые, впрочем, не снимал и летом. Костюм его состоял из темно-зеленой в белую полоску пижамы, брюки были заправлены в голенища. В помещении, тесно заставленном мольбертами, планшетами и табуретами, висела неподвижная духота. Среди банок с краской стояли и другие — в них была какая-то желтовато-мутная жидкость. Давали себя знать больные почки, и прежде чем вылететь в окно, моча выстаивалась несколько дней — в исследовательских целях. В те годы многие болели душой и ревматизмом — наследием той великой эпохи, после которой любой век показался бы золотым. Ученики работали также на пленэре, писали пейзажи в заросшем лесом овраге. Носов орал им в окно неразборчивые указания.

Художник Халяпин взял из медного кувшинчика кисть и воткнул в анус художника Красного. Красный прекратил скакать по полу и попытался встать. Зачем-то натянул штаны... Халяпин тупо смотрел на свою руку. В ней остался жестяной конус и растрепанная щетина, черенок же исчез, и Халяпин не понимал этого.

Красный присел, изогнулся и запустил пальцы себе в зад.

Художники Литвинов, Шелегин, Малый и Скачко не шевелились. Халяпин протянул руку и ударил Скачко по щеке. Тот попытался поднять голову. Тогда Халяпин стал будить Литвинова и Шелегина. Он сбросил их с кровати прямо на Малого. Это ничего не дало. Халяпин запаниковал. Рывком он поставил Литвинова на ноги и, придерживая руками, рассказал, что случилось. Потом оба сели, и Халяпин плеснул себе — чуть-чуть, на доньшко.

— Он в сральнике, — сказал Халяпин и указал рукой направление.

Литвинов тяжело вздохнул.

— Что делать? — спросил Халяпин, и Литвинов чуть приподнялся, но тут же сел.

Халяпин достал сигарету и сунул ее Литвинову. Литвинов вскочил и взмахнул руками, толстая бурая струя вылетела у него изо рта и упала на стол, обдав Скачко.

Литвинов сел.

Халяпин бросился в коридор и открыл дверь. Красный корчился на унитазе и, запустив в него руку по плечо, что-то делал.

— Здесь тесно! — промычал он.

Тогда Халяпин выдернул из-под Скачко стул и одним ударом выбил фанерное сидение.

— Валяй сюда!

Красный перебрался на стул, и дело пошло на лад.

Утром измерили черенок. Оказалось — 23 см.

Дело было так: один мальчик уронил резинку, а В., который старался хорошо вести себя в детской комнате милиции, поднял ее и подал мальчику. Тогда мальчик одной рукой приставил резинку к носу В., оттянул другой конец себе за ухо и отпустил. В. схватился за нос, заплакал, и дал мальчику пощечину. Мальчик дал В. кулаком. Тетя милиционер пересадила мальчика на другой стул. Потом подумала, взяла В. за ухо и поставила в угол. Там он и простоял до тех пор, пока не вбежала его мама.

После всего пережитого В. понадобилась компенсация. Он попросил купить ему мороженое, и мама дала ему по уху — тому самому.

Голинский имел атлетическое сложение, был ловок и быстр — пока не работал. Вещи его не любили. Он мог положить остро отточенный карандаш в карман брюк и проткнуть бедро. Потом он извлекал грифель, как боец извлекает мелкий осколок, — захватив его конец ногтями.

Однажды он ушел домой, оставив включенной электроплитку. Удивительно? Нет, закономерно! Это совпало с тем редчайшим случаем, когда работа перестала (ненадолго) его оскорблять. Худсовет утвердил проект Голинского — интерьер некоей библиотеки (расположенной в подвале). Это была музыкальная библиотека. Вместо книг — ноты. И он сумел втиснуть в крошечное помещение шесть планшетиков с изображениями музыкальных инструментов. Не бородатый портрет Некрасова! Не стенд «Книги про книги». Не Марата Казея, не Леню Голикова с ППШ на исхудавшей шее, повязанной красным галстуком. Нет — валторну, трубу, тромбон, кларнет, тубу и саксофон. Эти простые вещи, не вызывавшие гадливости, произвели на Голинского удивительное действие. Он стал куда реже ронять карандаши и вообще ожил. В конце он расставил все на полу и пригласил друзей оценить работу. И вот эти-то шесть чудных планшетиков с золотыми, на сером, не хамском фоне, инструментами, никому не причинившими зла, сгорели.

Голинский поставил на стол портфель и один за другим вынул из него три граненых стакана, аккуратно обернутых в обрывки газеты. Осколки четвертого стакана лежали во дворе — он не поместился в портфель. Голинский нес его в кармане, а во дворе зачем-то достал.

Вообще-то пили из всего, но белое вино в двухсотпятидесятиграммовых баночках выглядело непрезентабельно. Именно в такой таре сдавали в поликлинику анализ мочи.

Еще один стакан лопнул, когда в него налили чай. При этом стакан держал Бовшивер, а чайник — Голинский. Бовшивер выругал Голинского.

Когда пришел Кучеренко, снова пили из банок.

Гольцберг работал «мертвецом». Получал зарплату и отдавал Островскому. Положенную за труд десятку брал из принципа.

— Я срал на деньги! — говаривал он. — Я не поц, ездить в эти говенные Бровары даром!

— Марик, это твое трудоустройство, ты рабочий человек! — подкалывал его В.

— Это ты рабочий человек, мудака! А я уже шестнадцать лет, как не работаю!

Работали Финкельштейн, Оленина и Фалейко. У них был подвал на Ивана Халтурина 4. Помимо основной работы они «делали» еще две зарплаты на Островского. Получал их Гольцберг и еще какая-то рябая баба. Из этих денег Островский вычитал свои 50%, по десятке «мертвецам», остальное делили Финкельштейн и Фалейко. Оленину Фалейко держал в черном теле. Она готовила на электроплитке и набивала шрифты.

Фалейко лил гипс. У него были формы (во всех видах — в кепке и без) — от крошечного Ильича на Доску Почета, до многопудового «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить!» — на задник заводского клуба. Иногда «белье» удавалось толкнуть гораздо дороже его истинной, отрицательной по сути, стоимости. Какому-нибудь директору музыкальной школы показывали красиво блестящую медью чеканку, а на стену монтировали крашеный под бронзу гипс.

— Они не понимают настоящей красоты гипса! — с ударением на последнем слоге кричал Фалейко. — Естественный цвет и фактура материала! В случае чего, можно и побелить — запылится если! А им — чтобы только богато! Зашьют стену сосновой планкой, припалят паяльной лампой, чтоб, значит, потемнело разводами, лаком зальют и на это Ильича запиздят — золотого!

В первые дни Гуецкий просто накрывал унитаз. Куском фанеры. Потом купил гигиенический стульчак с крышкой. А со временем воздвиг настоящую будку — с дверью и крючком.

В третий карцер он теперь входил боком. Дверь же не открывалась полностью — мешала стена. Мочиться было сложно. Сначала надо было проникнуть в будку. Затем, подав зад вперед, попытаться закрыть дверь. Унитаз оказывался между ногами.

Мочились стоя на пороге. Большую же нужду справляли сидя орлом. Нужна была ловкость, так как крепежные болты давно проржавели и унитаза нетвердо держался на «ноге».

Было ровно два часа, когда Голинский налил в жестянку молока и нырнул в хаос осклизлых труб. Застойный воздух вызвал легкое удушье. Что-то сипело, едва слышно капала вода. Голинский присел на корточки и тихо свистнул. Прислушался. Прямо над ним шла жизнь: где-то хлопали двери, топали ногами, спускали воду... Звуки доходили по трубам, странно искаженные, далекие. Потом, вдруг, он услышал стук собственного сердца — тоже странный и гулкий. Наконец донесся слабый шорох. Что-то двигалось между стеной и отставшей штукатуркой. Он поставил жестянку на пол и отступил назад. И тогда выпрыгнула к жестянке огромная бурозия крыса.

В. показалось, что в комнате кто-то есть. Так оно и было — на столе. Свет лампочки несколько его не беспокоил. В. отказался от намерения пройти к окну и открыть ставни. Вместо того он поставил сумку на табурет и, видимо, сделал это несколько развязно. Крысак приподнялся и распушил шерсть. В. застыл, как в приемной. Крысак же вернулся к прерванным занятиям. Обнюхал баночку с кадмием красным, позабытую растяпой Голинским и перешел к исследованию тарелки. Брезгливо отверг присохшие останки вермишели. Почесал брюхо, потом пах, и уставился на В. — он помнил о нем! Окончив осмотр, переместился чуть левее и вдруг вскочил на полки, а оттуда без всякого усилия махнул в потолок. В. с удивлением обнаружил там не замеченную до этого щель.

Сыплют отраву, а он ест. А кто его съест, тут же сдохнет. Не исключено, что помимо ядов в его теле есть и бактерии чумы. Спят, до поры до времени...

Ставят дурацкие ловушки и всячески травят сотни лет. Его предки пришли из Манчжурии и оттеснили черную крысу в Англию. Людей он лишь терпит. Когда их не станет, его потомство заселит планету. Вон какие яйца висят у него на хвосте!

Я тоже ем отраву. Причем с раннего детства. Пусть «они» только надкусят!

Перед отъездом в США скульптор Гуецкий подарил Голинскому мастерскую. Это было несложно. В Управлении нежилого фонда они дали кому надо 25 р., и вместо «Гуецкий» в бумагах стало: «Голинский».

Много месяцев после этого Голинский выносил наследие Гуецкого вверх по темной лестнице. Сначала, ломаной лопатой, он выковырял из корыта глину. Потом настал черед гипсовых торсиков, бюстов и статуй. Тяжело было выбрасывать чужие работы, и Голинский сложил их, как мог аккуратно, в корыто, а потом уже выбросил. После этого в мастерской остались одни каркасы — застывшие всплески дикой энергии Гуецкого: куски досок и железной арматуры, стянутые проволокой и прибитые к постаментам балочными гвоздями. Гуецкий так и не успел покрыть их глиной. Сырая плоть рабочих, колхозниц и трудовой интеллигенции исчезла в мусорном ящике.

Саме место этим каркасам было в Метрополитен Музее Нью-Йорка, но Голинский так и не дорос до понимания таких вещей. Дорос Гуецкий, как только посетил музей, но было уже поздно. Он не вывез свои шедевры из России, а сделанное на месте стоило меньше досок, проволоки и арматуры.

Подобные вещи разыскивал в 1994 г. Леон Виленский, по кличке Гаон (Leon Vilensky Gallery, Plankengasse 12, Vienna).

Виленский купил все заплесневевшее содержимое мастерской Трохименко К.Д. за 25\$. Еще за 15\$ ученики покойного отреставрировали милые их сердцу хаты, глечики и синее небо. В мастерской нашлась и пачка старого картона Балахнянского целлюлозно-бумажного комбината — так называемое «балахно», излюбленное киевскими мастерами. На нем были срочно созданы новые шедевры усопшего классика. Все это легло в подвал по Копрштрассе 7, гор. Вена, — в свете синей спецлампы свежая краска мерцала противным купоросным светом. В 2003 г. уже ничего не мерцало, и отторгнутые работы Трохименко трансформировались в нижний марш лестницы очень прилич-

ного двухэтажного помещения по Spiegelgasse 21, с подвалом без окон. Неотъемлемая часть Украинской культуры ушла на Запад, ввиду полного равнодушия к ней остальных частей. В верхний марш лестницы трансформировались работы членов СХ УССР Логвина и Шпортко.

Вдова получила 25\$, ученики — 15\$, Виленский — лестницу и чувство причастности к чему-то значительному.

Коллекционерам досталось именно то, что они приобрели: картон, покрытый масляной краской, и связанные с его покупкой специфические эмоции.

Трохименко тоже не остался в накладе — с 1989 г. у него ничего нельзя было отнять, т.к. в этом году он умер.

Глаз Виленского видел. Все, что имело отношение к. Это мог быть золоченый могоендовид, обломанный кончик мексиканского фаллоса из полированного базальта или пейзаж с глечиками работы Трохименко.

В подвале без окон тем временем ползал Дима-черепаха, реставратор-рамочник. Он экспериментировал — замешивал на натуральной олифе мел с алебастром. Засохшие эксперименты валялись повсюду, похожие на собачьи какашки, обесцвеченные осенними дождями. Черепаха искал состав для реставрации рам. Он так и не получил австрийского гражданства. У него были сложности с отцом, жившим на пособие. Или — папе пособие, или — сыну гражданство. Реставратору лучше без гражданства, да и без отца, кстати. Венские мастера веками охраняли секреты ремесла от таких.

Черепаха с удовольствием лепил и золотил в подвале.

Дневного света не выносил.

За столом сидела кассирша. Ее габариты потрясали. Грудь покоилась на столешнице, и места для бумаг почти не оставалось. Счеты лежали сбоку. В. сделал шаг к столу и больно ударился. Пол и потолок исчезли, а за ними и стены. Дыхание пресеклось — началась кевала-кумбхака, столь характерная для бхакти-йоги. Сознание полностью растворилось в предмете созерцания.

Кассирша отсчитала деньги, вырвала листок из ученической тетрадки, вывела огромными каракулями «25-155-17 — Лена» и подала, глядя вперед себя каменными глазами.

Телефон так и не понадобился. В парке В. сел на скамейку и просидел до конца рабочего дня.

А потом Великая Мать поглотила его.

В Киеве, у входа в Музей Украинского Искусства сидят географически чуждые ему львы. Таких львов, только стоячих, в 2006 г. получили все зарегистрировавшие себя художники Иерусалима. Этим занимался муниципалитет. Со львами поступили кто как хотел. Ленивые раскрасили акриловой краской, кто побойчее, налепил на цемент кусочки зеркала — в стиле Гауди, кое-кто просто обдрыстал орнаментом. Вообще лев — символ Иерусалима. Он изображен на его гербе. Мероприятие было посвящено пятидесятилетнему юбилею города. Посетив брата в Касселе, В. обнаружил раскрашенных цементных же коров. Они стояли на площадях и улицах, на перекрестках и в подземных переходах.

— Ты красил? — спросил В.

— Это не я! Я был Испании! В Мадриде, кстати, тоже коровы, это всевропейская акция! Я сперва подумал — быки, а потом присмотрелся...

Художников Фесечко и Зуева залило. Дело было зимой, и вода была горячая, от нее валил пар. Тогда Фесечко и Зуев натаскали со двора кирпичей и рассовали повсюду. Когда работали, стояли на кирпичах, а обедая клали на них ноги. Потом вода остыла.

Пустые бутылки выплыли из чулана и скопились под столом. Размокшие окурки пустили характерную вонь. Всплыли обрезки картона, бумажный хлам...

Лена открыла дверь и недоверчиво оглядела внутренности фанерной будки. Деликатный Голинский выключил свет. Лена тут же включила его. Вспыхнули все дыры и щели, на темных стенах зала заиграли зайчики.

Лена развернулась и, встав на пороге, левой рукой приподняла свою широкую юбку, а правой приспустила гигантские трусы. Чуть присела, прицелилась, глядя между ляжками, и пустила могучую струю.

Трое мужчин застыли в благоговейном молчании.

Унитаз пел. Его фанерная дека издавала тончайшие тремоло. Затхлый воздух всколыхнуло, настаивавшаяся годами вонь мастерской приняла в себя последнюю недостающую ноту и трансмутировала в чудо-эликсир.

Уже отхлюпали последние торжественные аккорды, Лена давно натянула трусы и ушла, а потрясенный Бовшивер вдруг обнаружил у себя стойкую эрекцию.

— А как у нее, это, ну размеры, что ли? Не представляю, каким образом ты...

— Размеры? Как солдатская пилотка, Витя, как раз на твою лысую голову!

— Нет, без обид, как ты себя с ней чувствуешь, ведь все-таки...

В. задумался. Вопрос был слишком глубок.

— Ладно! Вы — самые близкие мои люди... я скажу, попытаюсь... Здесь не место ложному стыду или циничному... цинизму... Понимаете, это как море... теплое, ласковое море... оно тебя укачивает, несет... А потом начинается шторм, и ты, как Ален Бомбар на резиновой лодке... Что же вы смеетесь, козлы!

Гамага сидел под деревом. Снег уже весь сошел, и на прошлогодней траве ему было сухо и уютно. Часа два он поспал и теперь медленно приходил в сознание. Бледная заря ровно светила над прудом. Есть не хотелось. На другом берегу стояла женщина в пальто и смотрела на воду. Потом к ней подошел мужик — видно, вышел из туалета, и они ушли. Гамага долго еще смотрел на раскисшие в воде комки газет, окурки и какие-то черные веточки — все это прибило к берегу, потом перевалился на четвереньки и, держась за дерево, медленно встал. Голова закружилась. Он отпустил дерево и двинулся к мастерской. Земля слегка покачивалась, но он добрался, ни

разу не упав. Когда-то в этом сарае хранили метлы, грабли и прочий садово-парковый инвентарь. Известковая побелка за зиму посерела, а кое-где и совсем сошла. Ногой он сгреб мусор и бутылки в угол, лег на картон и заснул. Мебели в мастерской не было.

После отпуска травили блох. Дело было так: когда Бовшивер сел на диван и начал было зачитывать вслух, над томиком Ронсара взвилось черноватое облачко. Во дворе В. сорвал с головы Бовшивера кепку и стал сбивать насекомых со своих брюк. Потом они бежали по улице неизвестно куда, пока не догадались сесть в троллейбус.

— Это все крысы, — шептал возбужденно Бовшивер, как ему думалось, тихо. — Витя их кормит! Переносчики опаснейших инфекций!

Пассажиры стали оглядываться. В. увидел, как женщина вдруг хлопнула себя по шее. — Сёма, нам выходить! — сказал он.

Художники запаслись ядом. Сперва, приоткрыв входную дверь, брызнули в прихожую. Потом, шаг за шагом, отвоевали зал. Последнюю пачку порошка гранатой швырнули в бойлерную. Блохи исчезли. Их микроскопические трупки усеяли беловатый фон будущего стенда «Книги про книги». Крыса два дня не выходил к жестянке с молоком.

Были и невинные жертвы. На следующий день на полу обнаружился черный таракан. Он еще боролся — лежа на спине, сучил ногами. В. подцепил его совком и кинул в мусорное ведро, где он шуршал еще несколько часов, а потом затих.

— Вот так и мы сдохнем в говне! — сказал Голинский, прозревая свою кончину в 2004 г. в социальной квартире на окраине города Ганновера.

Голинский сберег маленький каркасик, на котором чудом сохранились остатки серых глиняных мышц. Это был человек с поднятыми руками.

Наконец проступило помещение — «зал» с единственным окном, с видом в облицованный кирпичом колодец, и три глу-

хих карцера, в одном из которых стояло корыто, а в другом обитали канализационные и водопроводные трубы, краны и манометры. Третий карцер показался Голинскому уютным. В нем он и работал.

Голинский позванивал Бовшиверу в Берлин — эдак раз в год.

— Пора заняться живописью! — повторял он в каждом разговоре, вплоть до мая 2004 г., когда позвонил последний раз.

Художник Розеншварц втолковывал архитектору Кацу:

— На картине должны быть скрипка, ноты, Эйфелева башня и менора. Уберешь любой из элементов, и цена упадет на тридцать процентов, а если два, можешь сунуть картину себе в сраку. Но главное — колорит! Тона...

Кац с уважением вглядывался: игривые лимонно-апельсиновые, томные яблочно-сливовые, страстные вишневые, драматические коричнево-ванильные, трагические шоколадные... Полная связь с интерьером, т.е. с обоями!

В. уважал Розеншварца как никого другого. Розеншварцу можно было верить. Он излучал радость. Он изучал рынок. Его раскупали в Америке и Европе — не говоря уже об исторической родине. У него вышли монографии большого формата на глянцевой бумаге с поясным портретом автора. На всех без исключения картинах было по четыре элемента, но на некоторых — два. Эти свои картины Розеншварц особенно ценил как рискованные творческие поиски. Это были неполноценные, а потому особенно любимые дети, и он всей душой хотел, чтобы люди доросли до них, полюбили и купили.

Скоро о нем заговорили СМИ:

Живопись, пронизанная радостью

«Михаил Розеншварц, который организовал вернисаж, живет в Израиле. В его работах доминантой звучит музыка. Контрабас, скрипка, фортепиано, труба... На первом месте

они, а сами же музыканты — на втором плане, лишь контурами намечены силуэты артистов. Так и просится на язык: все пройдет, лишь музыка вечна. Интересно, что ни одна из работ не подписана, так что каждый может фантазировать в зависимости от видения мира и расположения духа. Вот-вот ударит по клавиатуре пианист, контрабасисты и скрипач смычком затронут струны, а в руке дирижера оживет палочка и полетится мелодия... Или же кофейня со столиками в глубине двора. Яркие шторы, скатерти, ярко-оранжевая листва на деревьях — весь антураж словно для того, чтобы создать солнечное расположение духа. Художник говорит, что это собирательный образ, навеянный воспоминаниями. Такие кофейни можно увидеть и в Париже, и в Вене, и в Хайфе...

М. Розеншварц рассказал, что помогает своим согражданам найти себя, реализовать в коммерческом плане. Вот и устраивает выставки по всему миру, особенно часто — в США, так как американский рынок самый большой и постоянный».

Выбившись из нищеты, Розеншварц сменил свой скромный BMW на роскошный BMW и вспомнил о бедствующих соотечественниках. Он стал помогать им и реализовал себя в коммерческом плане. Причем так, что сам мог уже и не рисовать, но рисовал, просто потому, что был настоящим художником — т.е. уже не мог без этого.

Он был глубоко народен и международен. В народе он черпал вдохновение — народ толпился повсюду: в маленьких, уютных кафе Вены и Венеции, Лазурного Берега, на Каймановых островах, в Швейцарии, наконец... Он щедро возвращал людям их радость, а они — ему, а он им, а они ему...

Архитектор Кац звонил брату в Иерусалим.

— У нас один говном рисует!

— Как это?

— На холсте!

— Говном?

— Причем своим! Потом запечатывает пленкой под вакуум!

— Как продукты, что ли?

— Именно! Чтоб не испортилось! Говно — материал крайне нестойкий.

— А зачем — говном?

— А почему — нет? Сейчас интересуются такими вещами... Подсознание там... Венская школа... Психоанализ... Кафка... Я просматриваю периодику — интерес к фекалиям пристален и глубок! А Фрейд, так тот вообще считал, что талант к живописи возникает, когда ребенок размазывает собственные экскременты по пеленкам... Палитра, кстати, достаточно богатая...

— Мне кажется, традиционные материалы... они... тоже как бы...

— Не в этом дело! Этот говнюк объездил со своей выставкой всю Германию, и в одном городе пленку случайно перфорировали, проник кислород... все заплесневело... короче, испортили-таки одну из картин... так он получил сорок тысяч марок страховки!

— Это за говно-то? А что было нарисовано?

— Пейзаж! «Морозное утро на Шпрее».

— А трудно рисовать говном?

Бовшивер окончил искусствоведческий факультет Академии Художеств. Эрудицию тщательно скрывал, но мучился. Громада знаний вызывала тоску.

Перед ним стояла баночка с колером. И он накладывал его куда надо, потея от усердия. У него было слабое зрение, и приходилось ложиться на плакат. Обычно он лежал на левом локте, длинная прядь волос соскальзывала, открывая бледную лысину, высунутый от напряжения кончик языка шевелился в такт кисти. А потом набивал по трафарету надпись: «Шире размах социалистического соревнования!»

Не смея читать стихи вслух, Бовшивер повторял их в уме — как ему казалось, а на самом деле бубнил себе под нос. Мимика выдавала его, он хмурился, шевелил бровями, закатывал глаза и т.п. Иногда несколько строчек вырывались наружу.

— Безглазые глаза, как два пупка! — дико кричал вдруг Бовшивер, и Голинский ронял что-нибудь.

— Что!? — кричал тогда Бовшивер, — Витя, ты что, разбил стакан?

— Медуницы и осы тяжелую розу сосут! — торжественно возглашал Бовшивер.

— Кто сосет? — с интересом спрашивал В. из своего карцера.

Возможно ли запретить человеку радоваться солнцу, любимой работе, избранному пути? Любить то, что он любит, и радоваться тому, что радуется?

В Харькове был знаменитый профессор С. Ф. Беседин, заслуженный деятель искусств УССР. Он, бывало, говорил своим студентам: «Я очень люблю свою семью, люблю свою работу, но больше всего я люблю Коммунистическую партию».

«Кто его заставляет?» — думал В.

Педагогический метод кафедры, руководимой проф. Бесединым, состоял в следующем: сначала студенты брали акварельные краски и писали натюрморт — рушник, глечик и тарелка с яблоками. Потом всё смывали губкой, потом снова писали, смывали и писали наново и т.д. Особенно ценились настоящие морские губки, но были в ходу и простые резиновые, и даже аптечные мочалки. Не смоешь — не напишешь! — говаривали ассистенты профессора. Мыть надо было особыми мастерскими движениями — как бы выявляя форму, фактуру, характер... Именно эти движения студентам следовало перенять в первую очередь.

«Мойте, мойте!» — куковала блондинка-доцент Мынко, и В. больше уже ничего не видел и не слышал, не чувствовал — кроме своего паха. Там висели две гранаты-лимонки, тяжелые и ребристые, щеки были выдернуты, приближался взрыв. Остановить его можно было лишь чудовищным напряжением воли. Доценту было около тридцати. Тугая грудь, могучие бедра, вскинутый кверху плотный задок... Мынко сгоняла В. с табурета, брала губку, зажимала планшет розо-

выми коленками и старательно терла, как пригорелую кастрюлю. Однажды она протерла дырку. Живопись у В. не шла. Движения доцента он мог повторить разве что в кармане.

Самого профессора В. видел два раза. Второй — в коридоре.

В. так ничему и не научился — его выгнали после первой сессии.

Как-то, в шестилетнем возрасте, жизнерадостная бухарка спела, стоя на стуле. Когда пришли гости, она спела еще раз.

Попрошу запомнить этот случай — до сих пор еще неясно, как влияют подобные случаи в жизни одного отдельно взятого человека на судьбу человечества в целом! Скажу больше — без этой удивительной девочки не было бы этой книги, дорогой читатель!

В любом коллективе В. становился неформальным лидером. Он находил пару-тройку придурков и становился для них своей мамой. Это было просто. Роза Эмильевна говорила из него, как дух пророка Самуила из пещеры. Неокрепшая психика придурков подвергалась чудовищному нажиму — поматерински нежному и неотвратимому. В. знал, что кому надо, куда лучше их самих.

Еще на самой заре жизни В. заботился о своем двоюродном брате, большеголовом и тихом мальчике (впоследствии — главврач психбольницы для неизлечимых хроников). Они жили в одном доме, воспитывались в одних и тех же коллективах. В детском саду пятилетний Алик без всякого принуждения становился в угол — самый темный в помещении. Оттуда он смотрел своими круглыми водянистыми глазами с красными веками. Веки эти никогда не мигали. Из них торчали рыжие ресницы. Натолкнувшись на взгляд малыша, воспитательница роняла предметы и крестилась. Другие дети к Алику не тянулись.

В., педагогически верно, старался вовлечь Алика в коллективные игры — салочки, скакалочки, считалочки...

Дети менялись бумажками от конфет — фантиками... Бессистемно бегали по двору, подпрыгивали, галдели...

Алик играл битым стеклом. Стекло он подбирал на улице, по дороге в сад, пока Ида Эмильевна рассказывала Розе Эмильевне о котлетах.

Алик колот стекло камнем и пробовал на остроту. Пальцы у него всегда были в свежих порезах и зеленке. Алик пачкал зеленой все, к чему прикасался. Например — лицо. Однажды воспитательница видела, как Алик ест зеленый хлеб.

Во втором классе Алик рассказывал истории. Он уводил В. в темный угол и, прижав к стене, шептал в ухо. Героинями рассказов обычно бывали знакомые ученицы четвертых-пятых классов. Алик привязывал их к батарее центрального отопления.

Это были рассказы на всю жизнь. После детского шепота все слышанные и виденные впоследствии ужасы поблекли навсегда. Стыдливый голливудский кинолепет о маньяках, садистах и серийных убийцах смешил В. и через сорок лет, как только он вспоминал рыжие ресницы.

Помимо всего прочего, в рассказах Алика фигурировал черный дог, величиной со школьную парту. Это был дог соседа — профессора Савича, впоследствии описанный его дочерью, — известной радиоведущей Израильского радио Эльмирой Савич. Собаку звали Эрон. Это была милая семейная аббревиатура: Эля, Роберт, Натан.

В книжке «Дети и звери» (Киев, изд. «Веселка») добрую собаку очень хорошо кормили и рассказывали ей сказки и истории, иначе он не ел — отказывался.

На прогулке, в сквере, при людях, Эрон аппортировал мячики и кукол, на его спине катали малышкой, он любил кошек...

Алик открыл истинное его лицо еще в 1961-м. Именно Эрон зверски насиловал привязанных школьниц после того, как Алик обрабатывал их стеклом.

Няньки на бульваре звали его просто — Арон.

Многие помнят передачи Эльмиры Савич. В непростые для новых репатриантов девяностые годы она заставляла радоваться. Добрые ее рассказы о первых трудностях неизменно

кончались «на отлично» — устройством на работу, восстановлением семьи, удачно удаленной (по новой методике и совершенно бесплатно) злокачественной аденомой простаты. Собственно, это были те же рассказы о животных, встреченных профессором и его доброй дочерью. Но главным, что запоминалось, был голос... Уже чуть климактерически надтреснутый, но полный такой неподдельной радости и веры в светлое завтра, что она буквально заражала всякого, у кого еще не было иммунитета.

Черный пес приблизился расхлябанной походкой старика, нижние веки чуть отвисли, глаза глядели куда-то вовнутрь, мрачно и сосредоточенно. Осторожно взял в рот тряпичную куколку в матроске и понес, доверчиво махая хвостом. На куклу потекли слюни. Няни с колясками болтали. Большеголовый мальчик на скамейке ел яблоко и думал свою тихую думу. Фамилия его была Гуральник.

В. снилась темная-темная лестница, бледная-бледная лампочка и тусклого блеска медная табличка: «Доктор Гуральник. Звонить один раз».

Однажды, в незапамятные времена, когда доктор приводил в порядок свой балкон, маленький В. громко закричал снизу, указывая на фары докторского «Москвича»:

— Дядя Юра, а что это?

— Фары!

— А там лампочки?

— Да!

— А зачем?

— Чтоб было красиво! — ответил психиатр.

Митя-эсэсовец работал «борзым». Выручку сдавал на Крещатике, билеты же получал в Театральной кассе, на Ленина 18.

Помимо театров толкал все вообще: и Дворец Спорта, и Центральный стадион (бывший Хруща), и дома культуры,

и клубы и прочее — за два процента от выручки. Особенно любил сидеть в общей будке — длинном дощатом сарае с крошечными оконцами. Вокруг, на сколько хватало глаз, бесновались болельщики. Митя высовывался и объявлял: — Ко мне не стойте, мелочи нету! — и, типа, прикрывал окошко.

Толпа взвивалась, раскачиваясь в панике:

— В чем дело! — орала, выли, свистели...

— Мелочи, грит, нету!

— Эй, ты! Слышь! Вали без сдачи! — окошко тут же распахивалось настезь, и в ход шли восьмидесятикопеечные. Когда кто требовал сдачу с рубля, Митя резко захлопывал окошко, считал до пяти, открывал и смотрел — на всякий случай... И за всю свою многолетнюю деятельность ни разу не увидел ничего, кроме протянутых рублей. За пять секунд пидора уносило далеко в море, туда, где на самом краю слышалось: «Граждане, кто за кем?»

Одно было плохо — с детства. Устный счет. Сложение, правда, давалось лучше прочих арифметических действий. Поди-ка пересчитай тыщи полторы мятыми бумажками и медью! Однажды попросил соседку-кассиршу, та пересчитала, ну, сумму запомнил, но пока шел на Крещатик, забыл. А вылезать из будки в толпу с сумкой, набитой деньгами? Тоже не сахар... Боялся получить по голове, но так ни разу и не получил.

Слева помещался портрет в островерхой фуражке, vyplненный пером № 86 (фиолетовые чернила).

Надпись под ним гласила:

«Обер-лейтенант Отто Цапельман.

Место рождения — г. Берлин.

Награды: железный крест первой степени с дубовыми листьями.

Служит в СС».

Кругом надписи пестрели кляксы.

— Ца-пель-ман, — по слогам прочел В. и, заметив внизу отпечатки фиолетовых пальцев, подумал, что так и надо.

Первую свастику нарисовал в подъезде — напротив входной двери. На двери же была фанерная табличка:

«Чичко Д.П., участник ВОВ, орденосец. Звонить раз».

Крест он вырезал из консервной банки. Потом занялся своим внешним видом: первым делом сложил свою школьную фуражку вдоль пополам и сунул под матрас. Наутро она выглядела, как на портрете. Затем вычистил ботинки-говнодавы, пришел к военного покроя темно-синему кителю недостающие медные пуговицы, надраил их мелом и впервые в жизни перестал походить на запущенного олигофрена. Документы и боевую награду сунул за подкладку — этот приемчик он почерпнул во время семейного просмотра художественного фильма, название которого забыл. Фильм как фильм. Наши били немцев. Оборванные партизаны вытаскивали из «Хорьха» иззящного человека в чистом мундире и давали ему «раза». Человека звали Отто. Фамилию он забыл. У них в подъезде в списке жильцов был один с немецкой фамилией — Цапельман Я.А.

К орденосецу ходили гости — бывшие сослуживцы и вообще фронтовики. Они мешали делать уроки и жить. Пили, орали, показывали мятые фотографии, но он не мог запомнить, где кто. Кроме того, они смотрели телевизор «Рубин». В телевизоре дяди типа папы и его гостей стреляли лежа и с колена, кидались в штыковую, потом пускали под откос поезда, взрывали составы с горючим и бронетехникой, мосты и целые железнодорожные станции. В конце клялись отомстить.

Дикую выходку позволила себе учительница Е. Белкина, участница ВОВ (контузия, сквозное ранение легких), обнаружив на обложке тетради орнамент из маленьких, похожих на цветочки свастик. С криками «фашист» и «козел» трясла и била о парту. В кабинете директора на вопрос: «Как дошел до такого», ответил: «Задумался».

Свастику изображал где и чем попало: углем по побелке, кирпичом по асфальту, мелом по кирпичу, а также резал по дереву — столам и партам. Долбил по камню и бетону. Действия эти производил автоматически.

В. запомнил одну — с плавно изогнутыми элементами, выцарапанную ключом по лаковой спинке сидения, в кинотеатре «Киев» — при плохом освещении, во время просмотра фильма-оперы «Садко».

Цапельман Яков Аронович, инвалид детства, работал на фабрике Художественной галантереи, занимался раскроем мелкого товара. Участия в боевых действиях не принимал.

В. спешил на свидание с любимой. Оставалось покрыть какие-нибудь 700 метров, но трамвай, как нарочно, едва полз. В. подпрыгивал и шумно дышал. Едва железная гармошка поползла в стороны, он сиганул на газон. Земля понеслась навстречу.

— Только не думать! — твердил В., отталкиваясь от стриженной травы. — Сдерживаться! Уйти в настоящий момент! — Газон! Газон! Газон!

Кусты! Скамейка!

Автомобиль «Волга»! Номерной знак 22-45-12 КИА, цвет черный, черный-черный с кружевами... подвязки, халат распа... отче наш, иже еси... идиот в кепке, баба с авоськой, дерево, кусты, а вот и дворничиха, старая пи... сыне божий, помилуй мя...

Прыжком через метровый штакетник — и опять — газон! Газон!

Газон, газон, газон! Пизда!

...в подъезд — левой за перила, прыжок через три, четыре ступеньки...

— Только не думать!

Вверху щелкнуло — открывает!

Открывает! Бля-а-а-а!

Еще одно усилие! В проеме замаячило бело-розовое пятно.

В. влетел в раскрытую дверь и кончил.

Есть на свете люди, одаренные свыше. Они способны слушать радио, смотреть телевизор, вдумчиво перебирать рекламные проспекты. В них скрыта непостижимая тайна: косяк

в десять тысяч сельдей одновременно разворачивается в толще мутной воды, — и всем достается по вкусному представителю тупого планктона.

— У микрофона и телефона Мордехай Гормон! — кричал в микрофон Мордехай Гормон. Это была сама бисексуальная суть творческой профессии: полный контакт со слушателем — как на входе, так и на выходе. Телефоны стояли перед ним. В детстве он мечтал стать не радиоведущим, а военным, но как-то раз спел, стоя на стуле. Его родители не могли себе представить, к чему это может привести.

А привело это к тому, что голос ребенка узнал весь Израиль — т.е. когда он уже вырос и возмужал. Во время войны зайдешь, бывало, в кафе, а там уже Мордехай Гормон! И слушает его пригорюнясь пожилой официант и две мухи. И все в порядке! — подумается тебе, — раз звучит из радио уверенный и четкий голос.

Художник Литвак имел большое лицо — больше, чем у обычного человека. Желто-серые волосы зачесывал назад. От этого лицо казалось еще крупнее, чем было на самом деле. У него было маленькое вислое брюшко и короткие ноги. Он нуждался. Снимал у кого-то угол. Откуда-то приехал.

— В мире есть баланс добра и зла и вообще всего! Все компенсируется!

— Ну да! Свет — тьмой! Холод — теплом! Зло — добром!

— Муки — кайфом!

— Черное — белым, а зеленое?

— Красным! Дополнительный цвет, художник хуев!

— А брюки?

— Причем тут брюки?

— Я говорю — чем брюки скомпенсировать?

— Пиджаком! А трусы — майкой! Пидарасов — не пидарасами!

Далеко впереди, по снегу, ковыляло что-то, похожее на ломаного муравья. Это был многократный чемпион СССР, мастер спорта международного класса Валерий Рожко.

В. никогда ничего не путал. Жену он обожал. Посторонних женщин заносил в специальную книжечку. Например: на букву Л. были записаны Люды и Лариса. В. никогда не ошибался, набирая номер телефона, — имена в книжечке имели специфический, им одним присущий запах, некую жгучую субстанцию, вызывавшую воспоминания и галлюцинации.

Направляясь на работу, В. вдруг оказывался в телефонной будке, откуда названивал в алфавитном порядке, не обращая внимания на стук и ругань. Однажды здоровенный мужик вытащил его за шиворот и бросил в снег. В. потоптался вокруг, а потом открыл дверь и попросил поторопиться, — у него-де, срочный разговор. Мужик лягнул его и пообещал набить морду.

— Они перешли на хозрасчет! — конфиденциально сообщил Фрадкин. — Что они имели? «Чертово колесо», «Комнату смеха» и это, как его, «Детская цепочка». Лодочная станция... Одни убытки! Шашлычная — да! Но это же капля в море!

Фрадкин махнул рукой в сторону неопрятного типа в пальто и натянута на самые уши якобы поварском колпаке, взял из-под голубого пластмассового стаканчика истрепанную ветром салфетку, брезгливо повертел в руке и вытер рот. Бовшивер с интересом заглянул в стаканчик — там лежал обломок кирпича. Внутренний протест против иррациональной дикости толкнул на поступок — он вынул обломок и неловко швырнул в кусты. Ветер тут же сорвал стаканчик со стола и умчал в сырую даль.

— Наглядная агитация, — продолжал Фрадкин, — это так да! Кто не будет идиотом, получит мастерскую, тут в лесу полно помещений!

Бовшивер сощурился, пытаясь навести резкость, в его очки виднелась зеленая мазня, в уши лез тревожный шум листьев.

— Материалы — ихние! Транспорт... Худсовет... Федю знаешь?

Бовшивер не знал Федю. Последнее время он занимался переводами французских классиков — тайно. Перебивался случайными заработками.

— Ты же умеешь рисовать? — спросил Фрадкин.

Художница Эпштейн Катя с детства прекрасно рисовала, сочиняла стихи и прозу, танцевала и пела — у нее был абсолютный слух! Потом заинтересовалась скрипкой. Ей наняли учителя — профессора.

Удовлетворенный успехами, профессор счел необходимым обучить ее игре также и на других инструментах. В частности, на том, который в училище имени Глиэра на факультете медных духовых получил название залупофона, а деревянных — кожаной флейты. Удивительно, но она оказалась неспособна даже к тому, что делали другие, куда менее талантливые ученицы! Личная жизнь так и не наладилась...

— Я устраиваюсь на работу! — сипло сказал Бовшивер в телефонную трубку, — в этот, как его, Лес культуры!

Последние годы он больше сидел у себя. Подрабатывал где попало — в журналах, театрах, музеях. Писал. Пока дочь была в школе, работал на откидном столике ее шкафика-секретера. Когда семья была в сборе, уединялся в туалете — у него была там припасена специальная досточка-фанерка. Клал ее на колени и погружался в цветной французский язык. Свежих зрительно-слуховых, а также тактильных ощущений было немного. Внешний мир — который тихо стоял на своих местах в старой, обжитой долгими годами квартире, и тот, который пошевеливался на лестнице, за огромной двустворчатой дверью, и тот, далекий, на улице, где бродила и копошилась жизненная закваска, мерк и ник перед гремучим и кипучим космосом печатного слова.

Зато работала вторая сигнальная система, спонтанно и плодотворно подключалось подсознание.

А надо бы было — на постоянную работу!

Труден, ох, нелегок, стал для него путь «в люди». А в не-люди? Чего стоил один директор по антисемитской фамилии Сало, сидевший в этом же кабинете угрюмый выродок главный инженер, чудовищная кассирша, рядом с которой любой казался пигмеем?

Мир простых людей обрушился на поэта-переводчика своей неотменяемой твердой вещественностью.

Природа его пугала. Цинично и вдруг предало ассоциативное мышление — уже не только дикая шерсть голого декабрьского леса, врывающаяся в окно троллейбуса сразу за площадью Мира, — само словосочетание «Голосеевский парк культуры и отдыха им. Рыльского» вызывало яркие, но однообразные картины: сырая зимняя ночь, партизаны, эсэсовцы («Дайне папире, юде!»).

Из произведений художника Рожко уцелели только чеканка «Бой неандертальцев с саблезубыми тиграми» и маленькая акварель с тремя альпинистами. Двое в связке ушли вперед по снежнику, третий, на переднем плане, страховал их. Над ними возвышалась скала, вершину освещало невидимое солнце. Оно вставало у них за спиной над густо-синим хребтом. Снежник кончался хищным надувом, нависшим над бездной. Рожко был в синей лыжной шапочке с белой каймой и белым же помпоном. Двое его товарищей...

Край листа оторван. Кто-то наклеил клеем — украсить стенд «Покорители чего-то там». Судьба по-разному обошлась с покорителями. Некоторых так и не удалось разыскать. Других разыскали, но показывать родственникам не стали, — так и хоронили в цинковых гробах, иногда полупустых. Большая часть, правда, успела перейти на тренерскую работу, некоторые даже что-то возглавляли, — какие-то альплагеря и т.п. Рожко возглавлял спасслужбу Северного Кавказа и вначале пил после окончания спасработ, потом начал употреблять во время проведения, а потом уже стал пить и до. Меньшая и лучшая часть продолжала — они-то и становились его клиентами в конце концов, — если не переходили в большую часть.

Худсовет. Картофель отварной, сельдь пряного посола, сало, сосиски, квашеная капуста, огурцы соленые, водка Московская.

Председатель — Ф. Корзун (оформительская секция СХ УССР).

Ф. Корзун никогда не падал головой на стол — могучее брюхо подпирало грудь, откидывало тело назад, на спинку стула.

— Сейчас заснет, — тихо, но внятно сказал Бовшивер, — все симптомы! И верно, низкий хриплый голос перешел в медвежье ворчанье, голова повисла и раздался, сперва неуверенный, храп.

— Попрошу не шуметь! — скомандовал Бовшивер. — Председатель отдыхает!

— Чего вы хотите — шестой худсовет за день! Только что был у Фесечко... Святой человек!

— Кто — Фесечко?

— Фесечко пьянь, как и ты...

— Он цены правильные дает!

— Твои работы бесценны! В справочнике и цен таких нету...

— Жалеет!

— А где остальные члены?

— Эти хуи даже до Фалейко не доехали... свалились. Куда им с Федей ровнятся! И как люди они — так себе... А Федя не за четыре пятьдесят¹ ездит, он любит с народом посидеть, поговорить... выпить... А на вашу... выпивку он наклал. У него в мас... терской в шкафу — коньяку-у! И водка тоже... я сам видел... он мне на... лил... и я выпил... с ним...

Потом, когда Федя уже ушел, пришел Кучеренко. Его привело *сверхчувственное восприятие* худсовета. Вернее, того, что подразумевалось. Такие мысли он читал на расстоянии.

Ассортимент напитков пополнился цитриновой и боярышниковой настойками на спирту — каждой по три пузырька.

— В аптеку зашел, по дороге! — объяснил целитель.

¹ Участие в худсовете оплачивалось в размере 4 р. 50 коп. за одно заседание.

Последние известия!

Вы слышали?

Передавали по радио!

В голове сразу начинал вещать исполненный нечеловеческой мощи и уверенности голос диктора — радиоведущего темных времен.

К двенадцати В. хотел только одного — чтобы все ушли и можно было спокойно заснуть.

Проснулся он где-то около полудня. Пылинки врывались в золотой столб и вспыхивали в нем. Точки, звездочки, волоски, закорючки... В пустую башку медленно, как пыль, врывались не мысли, а так себе, ни то, ни се.

Воскресенье, что ли... Вот суки — закрыли ставни, дышать нечем...

В. с омерзением ощупал свои брюки. Что-то на них опрокинули вчера... портвейн, кажется.

Последним, вежливо попрощавшись, ушел Кучеренко — сам поднялся по лестнице.

В. заснул было, но тут вспыхнул свет, это вернулась Люда — и не стала терять времени.

— Скачки, — думал В., — Большой Пардубицкий стипльчез!

Она мчалась на нем, понукая самое себя, к одному только ей ведомому финишу — брала препятствия, кренилась на поворотах, откидывалась назад и т.п. На ее мокрой красной физиономии проступило выражение абсолютного счастья — видимо, она пришла первой.

«Брюки превращены в говно, — думал В., — могла бы хоть приспустить их. Сказать Бызову, чтобы больше не водил ее... Нет, жалко... рожа такая довольная... Кудряшки, рыжие такие, капельки пота на носу...»

Где-то был ее телефон... кажется, на стене в коридоре. Бызов сангиной записал, стерся, наверное...

Поток сознания прервался — вслед за мозгом проснулся желудок, незначительный выхлоп придал мыслям другое направление, новый уровень.

Художник Давид Литвак имел внешность пожилого опосума, больного простатитом. У него и был простатит — в 43 года. Он работал в объединении Музинструмент, на заводе, где делали ударные: литавры, тарелки, барабаны и т.п. Он аккуратно набивал шрифт по трафарету и сносно переводил рисунок на нужное место. У него был настоящий «Леонардо», которого он одолжил на неделю шесть лет назад в 65-й школе г. Черкассы.

Покоритель Джомолунгмы (Эверест), 8848 м., Туркевич, долго выбивал для Рожко персональную пенсию. И выбил. А Рожко взял, да и умер. Так и не получил ни разу...

В Хайфе В. устроился на постоянную работу — охранником. Его научили стрелять из пистолета, автомата «Узи» и полуавтоматического американского карабина образца 1945 г.

Маленький Гольцберг прекрасно лазил по деревьям и водосточным трубам. В игротке Октябрьской ЖЕК увлекался ловлей на удочку деревянных грибочков — на деньги.

Удочка состояла из лакированной палочки, ниточки и колечка. Колечко надо было накинуть на грибочек и вынуть из корбочки. Расценки установил сам: белый гриб — пятак, подберезовик — три копейки, говно — одну. В случае чего давал «в глаз». Играл в карты — в «дурака» и «очко». Потянулся, было, и к черно-белой доске, но после шести лет разлюбил — играть в «Чапаева» стало скучно, а проигрывать обидно. Волею случая великая игра открыла ему свой подлинный смысл! Однажды, в детской комнате милиции, Гольцберг пустился в рискованную комбинацию, и, хотя плешивый старшина именно там, в детской комнате и научился играть в шахматы, стал проигрывать. Тем не менее, партия окончилась вничью, так как Гольцберг отрокировал короля обратно, с чем про-

тивник согласился, дабы не обнаружить своего невежества. В следующей партии понятливый первоклассник сбил с доски все вражеские фигуры, причем последним — коня.

Труднее всего побороть первые детские впечатления — Гольцберг навсегда потерял веру в правоохранные органы. Что, конечно, было ошибкой.

Ты — санитар леса! — кричал Бовшивер. — Посмотри только, кого ты ебёшь! Евгении Борисовне шестьдесят один год, у Жени из библиотеки КВАЗ сухая рука, а эта блядь из парка Пушкина? А Лена — сто пятьдесят кило?! Ты приставал к прыщавой уборщице из пятидесятой школы — я знаю!

— Лену не трогай!

— При чем здесь Лена! — я говорю про эту, как ее, она же сущий урод! Ты же молодой симпатичный мужик, зачем это все?

— Я не знаю...

— У тебя нет пиетета — ты вдул сокурсницу Голинского! Это непорядочно! Стоило человеку привести в мастерскую свою подружку, мать троих детей, как...

— А почему он сам ее не вдул, — перебил В., — мать троих детей? А зачем, по-твоему, она лазит по подвалам? Поговорить с Витей об оформительском искусстве?

— Витя очень обиделся, у него с ней только начало налаживаться...

— Она занятой человек! Дети, больная свекровь, муж пишет какую-то хуйню, диссертацию или что... А наш Витя четыре раза ее приводил и только пиздит и пи...

— Это другое поколение, они не могут, как ты! Животное!

— Она очень даже может! Витя, кстати, пригласил ее, а сам не пришел — перепутал день...

Работа закипела: В. брал из пачки открытки, вставлял в «Леонардо» и давал ток. Из черного раструба бил луч света, на планшете появлялось изображение, Бовшивер наводил карандашом, Голинский надписывал цвета.

— Витя, что такое «К?» — спросил Бовшивер.

— «К?» Красный, разумеется!

— А это что за «К»? Вот тут, внизу, я вас спрашиваю?!

— Это? Коричневый!
— Почему одна и та же буква! Неужели так трудно написать полностью!
— Пусть пишет «Б» — бурый! «Леонардо» перегревается!

— Это тебе жида не нравятся? — закричал В. и указал пальцем. Мужик вскочил, покачнулся, и палец попал в глаз. Размахнуться было негде, В. ударил головой, одновременно то же сделал и мужик — раздался глухой стук. Началась свалка. Раздались крики: «Бей жидов!» и «Как вы ведете себя в троллейбусе!» Кто-то упал в проходе. Голинский рванулся и, встав на упавшего, наконец ударил — сверху вниз.

— Витя! Витя! — закричал В.

Голинский, работая руками, двинулся вперед, и В. удалось, наконец, подняться.

Художник Островский ценил свое время (а не чужое). В 7.00 он уже сидел за рулем горбатого «Запорожца». До 19.00 носился по городу. В первой половине дня он вел работу в государственном секторе, т.е. выбегал, оглушительно хлопнув дверью, и тут же вбегал.

— Мне Семичастный подписывал! — Выбегает. Хлопок двери. Вбегает. — Это не ваша частная собственность! Есть худсовет! — хлопок двери, удаляющийся бег по коридору. В кабинете переглядываются. Двери открываются, новый крик, и т.д.

Вторая половина дня посвящалась частным лицам.

— Леня, ты можешь достать галогены?

— Подойди в четверг!

Почему ты не дал ему галогены? — удивлялся В.

— Галогены — дефицит! Пусть, падла, чувствует! — Островский заглянул в портфель — У меня самого их не до хуя!

У Островского было невероятное имя-отчество: Леонид Леонтьевич.

— Ты читал «Иудейскую войну» Леонтия Фейхтвангера? — любил спрашивать его Бовшивер.

— Понимаешь, — говаривал Цемш, — смерть имеет перед нами преимущество, у нее есть время ждать!

Островский любил заниматься антиквариатом.

— Это — Фаберже! — говорил человек в твидовом пиджаке с замшей на локтях. — Если хотите, можно обратиться к Екатерине Павловне — она даст заключение...

Человек клал на стол какую-то синевато-золотую штучку и торжественно отходил чуть в сторону.

В этот момент Островский начинал рыться в карманах. Он выкладывал на стол ключи, слипшийся носовой платок, какие-то бумажки и мятую пачку «Мальборо». Он что-то нервно искал. Человек вежливо ждал.

— Мне надо позвонить, где тут телефон? — Алло, Лариса? Позовите Ларису! — Начинался разговор. Островский топтался по ковру, кого-то убеждал, помогая себе руками, присаживался на стул и на стол, пытался подойти к окну, до предела натягивая шнур, — хозяин кидался к телефону, подхватывал его на лету...

Островский камлал — приплясывал, бил в невидимый бубен... Сначала исчезала синевато-золотая штучка. Потом ковер, потом гарнитур «Мебле вспулчесне ческе», а потом и самая комната, включая хозяина. И тут Островский спрашивал — прижимая вдруг трубку к животу и другой рукой исполняя быстрые потряхивания в сторону стола — сколько ты хочешь?

— Две сто! — неожиданно для себя говорил человек.

— Лариса! — кричал в ответ Островский. — Я же просил! Не закрывать до пятого! Именно! И т. д.

Потом он долго стоял, почесывая подбородок.

— Лёня, давай решать! — тускло говорил человек в пиджаке.

— А? Мне надо идти... Хочешь шестьсот?

Человек брал штучку и клал в карман.

— Это не Фаберже! — говорил Островский в дверях. — Бери шестьсот, а нет — засунь себе в жопу!

Через четверть часа он уже приплясывал в телефонной будке на вмерзшем в снег мусоре, подергивая руками и обдавая трубку горячим паром:

— Это Фаберже! Посмотришь!!! Но мне дали на один час! А? Посмотришь — и думай, сколько хочешь! Нет, сейчас! Я ос-

тавил там бабки! Две с половиной! Что? Я понятия не имею, сколько это стоит! Короче, я буду через... двадцать минут.

Горбатый рвал с места. Из дыры дуло.

— Фаберже! Сукой буду! — кричал Островский.

— Было бы это настоящее фаберже — говорил Островский на обратном пути — оно бы стоило совсем другие деньги.

В. насторожился.

— Лёня, Фаберже — это фамилия. Мужик такой был — Карл Фаберже. Типа Фернана Леже, француз. Ювелирку лепил...

— Вот из-за такой хуйни эти фраера ничего не могут! Искусствоведы сраные — у них все на роже написано! И ты туда же! Покажи свои деньги, раз такой умный! Леже-фаберже! Пидо-ра-сы! — закончил он твердо и по слогам.

В. остро почувствовал чисто эстетическую ценность своего образования и загрустил. Он так и не решил, кому было адресовано последнее слово.

Островский пригласил друзей на ужин в ресторан «Динамо». Были и три девушки — он познакомился с ними утром. Одна из них все время кривила рот и почесывалась.

Продолжили в подвале по ул. Генерала Котова 3, где пили уже не коньяк, а водку и найденное в гардеробе крепленое вино «Лидия». Вечер не прошел зря: резь в мочевом канале, отвратительный зуд в голове и волосистых частях тела. Участники банкета были разочарованы. Лечил их профессор Глухенький.

— Вы не читали Пруста? Я так и думал!

У Гольцберга был свой метод. Он надевал синий велюровый костюм и выходил на Крещатик. Там он подходил к молодым женщинам и после краткой процедуры знакомства общал им номер своего телефона.

— Нужны мне телефоны разных дур? — спрашивал Гольцберг. — Наоборот! Если позвонила сама, ей можно воткнуть уже через полчаса!

Гольцберг жил в родительском доме, в двух микроскопических проходных комнатах. Дом прилепился к старинному, благородных пропорций могучему зданию, и выглядел как термитник. Папа-Гольцберг строил его много лет по кирпичику, и никто не знал, где он их брал. Он добивался разрешения и достраивал одну комнату. Так к первой, восьмиметровой комнате, он пристроил еще четыре, общей площадью 27 кв. м. Крыл черепицей, в трудные годы — шифером. Папа-Гольцберг был трагически не похож на сына. Может, поэтому он регулярно уходил из семьи, — но всегда возвращался. Кривобокая маленькая мама была сама по себе незаметна — замечали лишь ее отсутствие. Дом моментально мертвел. Единственным мужчиной, который мог ей нахамить, был сын.

Кухня была в коридоре, там стояли в ряд газовая плита и два шкафика, покрытых ярко-синей клеенкой. Дед, в задней каморке, был не в счет.

Когда-то обе Мариковы комнаты до самого потолка были набиты заграничным товаром. Сначала он ездил за ним сам, сам и реализовывал. Со временем это стали делать другие. Привозили южные — цыгане, узбеки, разномастные кавказцы. Реализовывали местные — все как один в синих джинсах и желтых рубашках. А потом стало тихо. Барахло куда-то переместилось и напоминало о себе изредка, да и то по телефону. Квартира стала такой, как была в детстве. Лишь хозяин не выскакивал во двор через окно.

— Ты знаешь — трогательно... Прямо за сердце хватает!

— За яйца хватает — скажи честно! Вы только посмотрите на него! — И Бовшивер чуть задрал голову, чтобы поймать очками изображение. — Как его развезло! Вареники! Скажите, пожалуйста, — какая редкость! Тесто в палец толщиной — изжога обеспечена! А размеры!

— Соответственно! — вставил Голинский. Если пересчитать на ее вес, так и получится — полкило!

— Это мне напоминает саги!

— Какие саги? О Форсайтах?

— Нет, простые исландские саги об утилегуманах! Утилегуманы? Полулюди-полутролли! Не читал? Я так и знал... Ге-

рой пробирается в пещеру и видит что-нибудь огромное: столовый нож в полметра или, там, стакан размером с ведро... Такой художественный прием, чтоб страху нагнать — я думал, и вот теперь...

— Послушай, женщина принесла нам поесть, проявила заботу. — В. задумался. Как раз вчера он видел тапочки. В них можно было влезть в ботинках. Такие выдают в музеях, чтобы посетители не портили кирзачами паркета. Это были тапочки хозяина квартиры. Он как раз был на смене, но где-то недалеко, в соседнем ЖЭКе. В. представил себе, как он зачем-то возвращается домой, отпирает дверь... На плече у него сумка с разводными ключами, молотком, плоскогубцами и мотком железной проволоки.

— Поехали лучше ко мне!

— Зачем? — удивилась Лена. — Он не придет! А придет — так ему и надо!

— А мне — надо?!

— Ты что — боишься?

— В такой обстановке у меня не стоит! А кто отсидел за тяжкие телесные, не он?

— Тебе ничего нельзя рассказывать!

— А чем стремление к аннотара-самьяк-самбодхи отличается от стремления к майорской должности? — спросил Дейнека.

Кассира не было. Гонцы вернулись из магазина и ушли опять, а он все не ехал. Председатель профкома Голуб устал. Художников все прибывало. И все, как один, говорили ему: Здравствуй, голубы! А иные: Как дела, сизокрылый! А потом: Где кассир?

Гольцберг трижды выходил на улицу и возвращался в зал, служивший бухгалтерией, складом и еще черт знает, чем. Кроме того, там сидели мастер, плановик и секретарь-машинистка. Восемь лет различных исправительных заведений не научили Гольцберга терпению — наоборот, всякую задержку со стороны *таких* он воспринимал как посягательство на его, Гольцберга, авторитет. Он заметно нерв-

ничал, прикуривал, глядя в окно, и, после многократных требований Голуба, выходил на улицу.

— Здесь не курят! — в третий раз сказал Голуб.

— Бабки давай! Не тяни резину! — ответил Гольцберг.

— Я к бухгалтерии отношения не имею! Вы же видите — кассира нет!

— А я при чем? Бабки давай!

Единственной интересной чертой Голуба были угри, и Гольцберг не отводил от них глаз.

Время шло.

Гольцберг тупо уставился на стенд «Производственные показатели и результаты соцсоревнования» и машинально прочел:

Бригада Куцкого И.М. — 114%

----- Фалейко П.И. — 106%

----- Островского Л.Л. — 206%

----- Каменева С.Н. — 94%

— Мы победили! — заорал Гольцберг, и из коридора побежали на крик. — Выдвигаю инициативу!

— Чего? — не понял Голуб.

— Присвоить нашей бригаде имя героя войны!

— Какой войны? — спросил Голуб.

— Гражданской!

— Какого героя?

— Островского!

— Лёни?

— Островского — говорят тебе! «Как закалялась, блядь, сталь» — читал?! У нас в клубе его портрет висел!

— В каком клубе?

— Где меня теперь нету! — Гольцберг развеселился — Короче, так! Бригада Островского имени Островского! Бабки давай! Не тяни соплю!

— За человека с человеческим лицом!

Присутствующие чокнулись гранчаками, с уважением провожая взглядом удаляющуюся фигуру. Ноги уже растворились в тумане, плечи и голова как бы парили над

кустами. Последней исчезла ушанка — одно ухо торчало
кверху, покачиваясь на ходу.

— Он что, живет здесь?

— Скорее, обитает...

Низко летящая ворона глухо каркнула над их головами.

— Какая, однако, физиономия!

— Достигается упражнением!

— Кстати... — В. сделал движение стаканом.

— Не частить! — вяло бросил Дейнека.

Возникла пауза. Видно было шагов на десять: тусклый
снег, прошлогодние стебли в оттаявших ямках, красные ветки
кустов и верхушки деревьев, едва различимые в бледной
взвеси.

Загудели рельсы.

— Кто выполняет эту садхану на рассвете, в полдень и в
сумерках, постигает быстро! — как бы самому себе сказал
Ярошенко, разглядывая свой стакан. — Главное — на рассве-
те...

Присутствующие молча согласились.

— А все же — удивительное лицо! — При всей его синеве!

— Чего ты хочешь? Человек освободился от привязанно-
стей... разорвал, так сказать, пути... и вообще...

— Потому как выполнял — на рассвете и вообще... А мы,
завтра пойдем на работу!

— Как сказать...

— Ну, так послезавтра! У меня, к примеру, семья...

— Гнилой базар!

— Кончайте! Так хорошо, в смысле — тихо...

— Он со мной не спит!

— Нашла кому жаловаться! А почему, собственно?

— Так... Не знаю...

— А кто знает?

— Обиделся за что-то, должно быть...

— И давно?

— Полтора года...

Они сидели на скамейке. Слева, на клумбе, стояла ацтек-
ская пирамида — только маленькая. Там, где полагалось быть

жрецу с каменным ножом, торчал постамент. Великий Кобзарь смотрел сквозь деревья парка на галдевших у входа в университет его имени — начинался учебный год.

Скульптору Манизеру удалось придать лицу поэта подходящее к случаю выражение угрюмого удивления.

— А твой... Он что — здоров?

— Здоров! Такие — не болеют! Однажды я открыла ему газ...

— Я уже слышал...

— Хотя в последнее время какой-то вялый стал... на лицо бледный...

— Я не в том смысле... Вот у меня друг есть, закончил, кстати, университет... занимается йогой...

— Чем?

— Ну, не спит с женщинами... По-моему, от этого и болеют — плохое настроение, депрессия, вялость...

— Позор какой! Мой ничем таким не занимается! Может, на зоне — так это когда было!

— Как же стать Буддой, если я все время вру, вру...

— А ты что, хочешь стать Буддой?

— Очень хочу, и стану!

— Пожалуйста, не надо! Давай лучше сядем в троллейбус! Леша, держи же его! А... что ж ты, еб твою мать?!

Гольцберг подкрался к собственному деду и снял с него пиджак отца. С помощью отвертки и плоскогубцев отодрал орденские планки, пиджак снова надел на место. Деду было девяносто два года, и он ничего не заметил.

Планки Гольцберг прикрепил к своей синей майке. Отбрав у маленького В. деревянный ППШ с выбитой на прикладе ценой — 8 руб. 10 коп., присвоил себе звание и фамилию маршала.

Так его и называли: «маршал Жуков». За обращение «Марик» расстреливал на месте: глубоко воткнув свол в живот, крутил трещотку. Автомат в его руках дергался туда-сюда как настоящий. Кроме майки он носил несвежие сатиновые трусы и обувь, которую называл «сандали».

— Пришел пьяный, сел на кухне за стол — и ни гу-гу! Я и так, и так... Спит! Ну, спи... спи! Меня зло взяло! Что ж ты спишь, сука такая? Ты домой пришел! Скажи «добрый вечер!» или что... Спи, говорю, спи себе... Ну, я газ открыла — все четыре конфорки, окна-двери на запор и пошла до кумы — ты знаешь — до Вероники...

Настоящим евреем был один только Шая. Когда он пил чай, охватив кружку обеими руками, ссутулясь и поджав ноги, казалось, что он неделю кружил по степи — единственный уцелевший после погрома. Возможно, так оно и было — Шая жил вне времени, не ведая ни года, ни месяца, ни числа. Подробности его быта были малоизвестны. По-видимому, он где-то жил и что-то кушал. Шая весь умещался на своем табурете. Хлеб, который он отщипывал, лежал не на столе, а у него на коленях, на бумажке.

— Загробная жизнь непредставима никакой головой! — вдруг сказал Шая, — я не уверен, что она нужна... — И ушел в кружку с чаем, отрицая самую возможность дискуссии на эту тему.

Шая писал пьесу — сцены из жизни царя Соломона. Начиналось так:

«Пока хромой Роом не повелит тебя, мой Лой, кормить как каждого из нас, никто на всей галере, и я клянусь в том, на воду не опустит весла!»

Имя «Лой» было тяжким последствием самостоятельного изучения родного языка. Шая читал «Лой» вместо «Леви», а Роом, вероятно, был Ровамом. Древние евреи придумали себе такую букву, что ее можно было читать когда как: то как «о», то как «в», то как «у», а иногда и как «й». Им было все равно, что Шая будет писать пьесу.

Через десять лет, уже в Израиле, В. поступил грузчиком в перевозочную контору. На вывеске значилось по-русски: «Братя Лоевы».

Нижник-младший дрожал. Расплющенная куском антрацита рука лежала у него на плече. Пальцы ее подрагивали.

— Ты, гнида! Я тебе добра хочу! Чтоб завтра все вернул, как было! — сказал Уфимович и бережно коснулся останков магнитофона «Юпитер». — Человек любит музыку, а ты? Разобрал на детали и... продаешь? У него дома книги, пластинки, а ты? Да я тебя... очень прошу, чтоб к утру! Отец твой — художник, рисует... а ты! Ты — чего? А?

Ярошенко испугался сам. Он всего лишь хотел вернуть магнитофон, неосмотрительно отданный в ремонт малознакомому сверстнику, а слушая бывшего пролетария вспомнил, что сам уже пропустил сто одиннадцать учебных часов.

— Эх ты! — закончил Уфимович, окончательно сбиваясь с взятого было вначале тона громилы, вышибателя притыренных магнитофонов, — и повернулся к Нижнику-старшему. — Извините! Извините, если что не так!

Нижник-старший, бледный, в стальных очках на скорбном лице, смотрел на сына. Принадлежность его к профессии не вызывала сомнений: на нем был желтенький, в белые цветочки, кухонный передник, весь измазанный красками. В руке он держал микроскопическую кисточку и, не понимая, видимо, сути беседы, казалось одобрял общую ее направленность. Ответить он так и не успел — появилось новое действующее лицо. Свежеобесцвеченные волосы были причиной, задержавшей его появление.

— Что здесь происходит? Сергей! Кто эти люди? Извините — у нас беспорядок!

Уфимович пустился в объяснения. Такие вещи ему не давались: он сразу вспотел, запутался и жалобно посмотрел на приятелей. Но его не слышали. Вот уже несколько минут В. изучал картину в золотой рамке, втиснутую меж дверью и сервантом.

Поначалу ему показалось, что это старинная копия с чего-то очень известного. То был портрет дамы в платье-колете, темно-синего бархата, расшитом золотом. На заднем плане виднелся тщательно прописанный средневековый замок.

Сама дама стояла тут же, в дверях, неподалеку от своего портрета, в плюшевом бордовом халате-мешке и рваных шле-

панцах и улыбалась: «Да! Квартира-распашонка, зарплата — смешная! Муж — шизофреник! Парализованный тесть — в соседней комнате! Сын — негодяй!»

То была мадам Нижник.

Возникла пауза, немая, так сказать, сцена, на классический сюжет: «В ателье». Все четыре художника замерли ввиду наличия в помещении произведения искусства. Уфимович развернулся лицом к оному, позабыв в руке Нижника-младшего, и тот припал к его бочкообразному животу, как блудный сын на картине Великого Голландца. Ярошенко подался вперед, приобняв своего старшего товарища, а В. ухватился за полы собственного пальто, как бы обнажая грудь жестом раненого солдата, да так и застыл, демонстрируя портрету свой новый пиджак.

Художник стремился сделать красивую вещь, доставить окружающим радость, но наврать так и не сумел. Картине, собственно говоря, было наплевать на его первоначальные замыслы; она вытянула из автора такое, что на ее, картины фоне, окружающие реалии казались трухой.

— Это что, ваша работа? — наконец сказал В.

Нижник-старший ничего не ответил. Он вовсе не был шизофреником с медицинской точки зрения. В раскрытую дверь виднелась его мастерская. Она располагалась в проходе между гардеробом и кроватью отца и состояла из школьного формата трехногого этюдника. Под ним, на газете, располагались бутылка скипидара и кувшинчик с микроскопическими кисточками. Чуть дальше стоял табурет, а на нем графин с водой и масса разнообразных бутылочек. Они не имели прямого отношения к живописи. Это были лекарства обитателя кровати. На стенах, до самого потолка, висели картины.

Молчание становилось невыносимым. Положение спас Нижник-младший. Он вывернулся из объятий Уфимовича, налетел на стол, что-то упало, мать сделала ему замечание, В., наконец, сумел что-то сказать, и потом, у магазина, спешно наливая водку в найденный тут же, среди ломаной стеклотары нечистый стакан, продолжил:

— Тоста у меня нету, выпьем так... как конченные алкаши!

В подвал набивался народ и часами болтал о чем угодно. Можно было даже повышать голос до крика: «Ебал я эту мелуху!»

Возможность свободно выражать свои мысли на пятиметровой глубине опьяняла.

Тем временем Ричи Блекмор достиг полной самореализации в коммерческом плане. Вместо того, чтобы умереть от передозировки, он увлекся жизнерадостной бухаркой (см. стр. 19) и решил заняться любимой с детства лютневой музыкой. От «Темно-пурпурных» его давно уже тошнило. Вести об этом просачивались сквозь дырявый «железный занавес».

— В природе как было? Доминантный самец передает гены потомству, ну, оно и выживает. А у нас? Доминантный самец издыхает на даче, шевеля усами... Жизни лишил миллионы, остальных опустил, а генов оставил, как кот заплакал — сын-алкоголик и Светлана Аллилуева! Человечество, боюсь, не пройдет естественного отбора! — Шая умолк, Голинский замер с кисточкой в руке, Бовшивер и В. переглянулись.

Стало тихо, и с улицы, где все еще валил снег, глухо донеслось:

— ...и в нашем!

— Так я и говорю — по четырнадцать! А картошка — двадцать! — кричали, видимо, из окна. — А на углу?

— И на углу!

— Ну, я не знаю!

— Я пойду, схожу, проведу «Птицейцы»!

— Давай иди!

— Пошла! Пока-пока!

Вслед за чем наступила уже полная тишина.

Подъехал осевший на заднюю ось «Понтиак». За рулем сидел некто при галстуке и в папаше. Автомобиль встал посреди улицы, не обращая внимания на гудки. В заднюю дверь медленно, с большим достоинством, высунулась розовая нога в лаковом сапоге.

В. поднялся с бровки и уронил питу, фалафели покатились по асфальту. Улица уже растворялась. Гаденькие лавчонки с фаянсовым хламом, красно-синие вывески, плюгавые кафешки с их никчемными посетителями, горячие пыльные квартиры, дурацкая вывеска «Братья Лоевы» — последней исчезла «Маленькая Чехия».

В руках она держала ярко-розовый мобильник. Меж огромных грудей свисали цепи, фальшивые бриллианты, висюльки в виде роз. Чудовищные ляжки торчали из миниюбки. В белых сапогах она была похожа на снегурочку.

Подошел человек в папахе. Он воткнул в воздух растопыренную ладонь, и Лена пошла за ним.

Раскладной стульчик, сидение и спинка отделаны красным мехом. Стекланный виноград в фаянсовой корзинке. Красная ваза на полу и в ней сноп искусственных красных роз. Еще красные розы — в плетеном бочоночке и еще пять искусственных букетов: тюльпаны, гвоздики, пионы и т.п. Букет стекланных цветов на телевизоре, на кружевной салфетке, рядом скульптура девочки, а вокруг гномики, куколки и Санта-Клаусы. Светильник в виде трех красных шаров, с абажуром-цветком и стекляшками. Гирлянда стекланных колокольчиков. Хрустальная люстра. Плюшевый тигр на кровати. Ростом с большую собаку. Над ним портрет неизвестной в виде шелковой подушечки в пластиковой рамке, крашеной под бронзу.

Картина: атолл, пальмы, закат с лиловым облаком и тремя вулканами. Каноэ. Все в золотой, мелкого дрыпа, раме. Красные часы и сверху — куколка — балерина в красном. Пепельница в виде женщины без головы в красных туфлях. Подставка с мобильником в виде туфли (красной). Фиолетовый стекланный баклажанчик, неуместный в квартире одинокой женщины. Цветы в рамке (аппликация из соломки). То была ее комната.

— Я даже не знаю, как благодарить! Нет слов, просто нет слов! — Литвак мило улыбался и делал над пакетом пассы.

Пакет был аккуратно обернут коричневой бумагой и перевязан волосатым пеньковым шпагатом. В нем были гуашевые краски, три кисточки и баночка клея ПВА. Все это собрал и упаковал Бовшивер.

— Мелочи! Не о чем говорить! — сказал он и покосился на В. Тот излишне громко стучал молотком. Вид у него был такой, словно он собирался перекусить маленький гвоздик, который держал во рту.

— Объясни мне, пожалуйста, Леонид, что это все означает? — начал В., как только Литвак вышел. — И почему, в таком случае, Голинский не имеет права подкармливать милое его сердцу существо, гордое и одинокое, не понятое окружающими?

— Что?! — возбудился Бовшивер (были задеты принципы). — Порядочный человек попал в сложное положение, его выжили из дому! И, знаешь ли, твое сравнение с крысой отвратительно! Это отдает мелкой злобой!

— Не думаю! Когда я работал в противочумном отряде, таких забивали лопатой!

— Думаете, раз вы не пишете пьесы, так вы делаете это талантливо?

— Что именно?

— Не пишете!

— Не надо ссориться по пустякам! — вставил Голинский.

— Понял! Пустяки пишу!

— А вот Осип Манделъштам говорил, что бездарная книга есть преступление! — Бовшивер оторвался от стенда «НИИАС. Лучшие люди института».

Оказалось — Гольцберг не спит. Он перевернулся на спину и с видимым усилием попытался испортить воздух, но безуспешно. — Они думают, что раз не лезят по карманам, так они уже честные! — сказал он. — Я вот знаю людей, которых до сих пор не уважают как надо, только за то, что они когда-то, лет пятнадцать тому, будучи еще сявками, нарисовали одну-единственную стенгазету!

— У меня семья! — сказал В., горестно оглядывая помещение, набитое стендами, плакатами и досками почета в разных стадиях разработки.

— Иди вору, пока трамваи ходят! — Гольцберг вынул из кармана пачку американских сигарет и, никому не предложив, закурил.

У Гуральника была самая заурядная внешность. Обыкновенный взгляд. Равнодушный. Даже скучный. Так смотрит из клетки тапир.

Гардеробщик уронил шляпу.

— Ничего, бывает! — глухо сказал Гуральник.

— Извиняюсь! — проямлил гардеробщик и уронил плащ. По дороге к вешалке он оглянулся — дважды.

— У нас санитар есть, Миклушин, метра два ростом, — рассказывал Гуральник, накладывая пюре ножом на вилку, — бывший спортсмен-метатель. Возьмет одного, засунет ему в штаны подушку и на спор — как даст ногой — и, веришь, выигрывает! Я сам видел — через кровать перелетают!

— Как это?! Это ж какой удар должен быть! Нет, не верю, наверняка покалечит!

— Так это смотря кого! У нас такие есть — хоть с третьего этажа кидай — и ничего! Ремонт был, как раз решетки меняли, ну и не доглядели — сиганул!

— Побег?

— Нет, тут же вернулся, в палату побежал. Голеностоп только вывихнул, ну, и ушибы... Дело в том, что при некоторых заболеваниях повышаются, как бы тебе объяснить... короче — возможности твои, человек!

Кстати, у нас — высоко, здание досоветской постройки, двор кирпичом мощен... вообще — красиво! Парк чудесный! До города далеко только. Особенно зимой. Да и осенью не доберешься — дожди, грязища...

Но терпимо. Телевизор есть — когда дежурство; в принципе — тихо, спать можно... Неплохая библиотека по специальности — даже странно! Журналы выписываю... Но надоело! Все надоедает. По-моему, насчет самосохранения и размножения сильно преувеличено. На самосохранении давно и, заметь, добровольно поставлен крест. Зато оклад! А инстинкт продолжения рода... в поселке сплошной и наследственный алкоголизм... дают любому, у кого хоть как-то стоит. Персонал — то же самое! Никакой остроты, новизны ощущений! — Ну, за твое здоровье! — сказал Гуральник и выпил.

— Не понимаю, как можно так издеваться над больными, беспомощными людьми, — возмутился вдруг, задумавшись о своем, В.

— Ты о чем? Миклушин? Добрейшей души человек! Ну вот... У нас одна врач есть, Марья Никитична, очень даже ничего! Фигурка, за собой следит... Сама из Ижевска. Надоела — страшно! Кстати, насчет самосохранения... Ты говоришь — побег? В каком-то смысле — да! Я думаю, вполне возможно. От скуки, к примеру, от недостатка самовыражения... Во всяком случае — не исключено. А ты?

— Я?

— Ты что думаешь по этому поводу? Некоторые альпинизмом занимаются, скалолазанием... С чего бы это? А?

— У вас политические есть? — понизив голос, в упор спросил В.

— Узники совести, что ли? — уточнил Гуральник.

— Ты знаешь, о чем я, — проворчал В. и закашлялся, хотя рот был свободен от пищи.

— У нас — неизлечимые хроники. Кем бы они ни были до того... на материке... Да! Тебе как художнику должно быть интересно: у нас выставка прошла — в столовой. Начальство любит. Типа терапии. Никитична акварельные краски купила, мелки какие-то...

— А что они рисуют?

— Все! Большею частью это, как бы тебе объяснить, скорее материал для исследования... Но некоторые — ничего. Цветы рисуют, Андропова... Что повеселее — вошло в экспозицию! Создает, так сказать, положительный психологический климат. А вы что?

— В смысле?

— Вы что рисуете? А? — Гуральник нацепил на вилку кусок хлеба, тщательно вытер им тарелку и отправил в рот. — Кстати, — продолжил он, — у нас есть двое. Один кретин, по фамилии Ульянов, и еще один — Жердинский, по кличке Феликс... По-моему, им у нас самое место... А то кто знает, чего бы они могли достигнуть! А ты как думаешь? Психиатрия — неточная наука, ее возможности ограничены, методы определяются социумом, а социум, строго говоря, состоит из тех же

пациентов. Ты кушай, узник совести, тебе калории нужны, фосфор... обычные издержки любого общества! Так что не психуй! У нас ложки глотают, вилки, один тесьму от простыни оторвал и тоже... Ну, и когда сзади выходить стало, так весь персонал сбежался, а на что, собственно, смотреть? Интеллигентные люди!

Гуральник вдруг замолчал. Поводил вилкой по тарелке. — Вообще — необходимы выборы — свободное волеизъявление путем тайного голосования, а так — одна бесплодная критика... Представляешь? Меня критикуют! Эти, на третьем этаже... А победят — изберут медперсонал, главврача... естественно, из наиболее свободомыслящих... Вот тогда и начнется... вернее, продолжится! Знаешь, чем отличается психбольница от сумасшедшего дома? В ней тихо! А третьего, чтоб ты знал, не дано! — Вилка вдруг согнулась под прямым углом. — Тебе серу кололи? — спросил он. — Ты — дурак!

В. открыл рот и замер. Единственное ругательство, употребляемое Гуральником с ясельного возраста, было «идиот». Может потому, что его отец был психиатром, а мать — его бывшей пациенткой.

— «Я не понимаю, как можно!» Ты не понимаешь, я не понимаю, больные не понимают. Но больные менее отвратительны, они не обязаны понимать. Теоретически... Ты, сперва, о чем спросил? «Это какой удар должен быть», а потом уже — и очень потом — «как можно» Лечить бы здоровых, а больные... от них, по крайней мере, всегда знаешь, чего ожидать. Я сперва думал — с ума сойду! А теперь сюда и не тянет. Там как-то спокойнее, в крайнем случае видишь, что тебе ждет.

Гуральник сунул под тарелку червонец и встал.

— Ну, всего хорошего! — И, не оглядываясь, пошел.

Гардеробщик уже держал плащ и шляпу — оказывается, следил. В. вскочил и выбежал из ресторана. Гуральник удалялся. Толпа расступалась перед ним. В. смотрел вслед, пока он не исчез из виду.

Уцелел только паспорт в кармане штанов. Штаны же лопнули на заднице по шву, на коленях проступила кровь. Бо-

лела продолговатая рана на темени, кровь из нее стекала за шиворот. Налипшая на мокрую одежду пыль, высыхая, отваливалась коростой.

В кузове сидела пара мрачнейших типов.

— Я тут реку переходил — вброд! — начал объяснять В.

— Нам похую! — процедил первый тип.

— Местные — суки! — глянув на В., заметил второй.

— Все утонуло — спальный мешок, китайский фонарик!

Типы отвернулись.

— Мы — в Былым! — наконец сказал первый.

— Очень хорошо! — воскликнул В.

— А может — и не в Былым!

— Мне — все равно!

В противочумном отряде он проработал две недели — пока шел перевод.

Типы учили его раскапывать крысиные норы и курить план. Прививку ему так и не сделали — не успели.

Вместо ста пятидесяти жена прислала семьдесят рублей и приписку на бланке: «Что случилось? Телеграфируй возвращение».

Кучеренко жил в бреду. Деньги приносила жена-переводчица. Двое детей питались сами — из холодильника. Вытаскивали из него продукты и ели, устроившись на полу.

В квартире ночевали. Кучеренко пускал в дом любого приличного человека, если тот был в состоянии подняться по ступенькам на крыльцо, — дальше был лифт.

Временами на него находило, и он принимался диагностировать. В такие дни он излучал харизму. Ему верили безоговорочно. Один даже сбежал из областной больницы. Вышел было прямо в халате — в овражек, за инфекционный корпус, посидеть с соседями по палате, а тут Кучеренко — случайно шел мимо... Посидели, разговорились, познакомились, и Кучеренко резать отсоветовал. Ну, тот и уехал к себе домой, в село Копачив, Обуховского района, и даже не написал, как и что.

Однажды в подземном переходе Кучеренко увидел изможденного человечка, торгующего брошюрами. Вокруг него столпилось люди, числом четыре. Человечек тыкал пальцем в

обложку с изображением И. Христа. (Именно так он именовался на всех пятидесяти шести страницах, прочитанных В. впоследствии.)

Кучеренко остановился, разгладил обеими руками русую бороду и устался на покрытый подозрительными натеками потолок подземелья.

«Купуйте, дондеже прииду!» — начал он довольно тихо.

Женщина с переразвитыми ягодицами испуганно обернулась.

Наперсточники прекратили манипулировать стаканчиком и часами «Луч».

«Искупующе... яко дни лукавие суть! Пост, бдение, молитва, девство и все другие добродетели...» На него уже устались все пятеро — включая продавца. Народ прибывал. Возник затор. «Чего дают?» — спросил кто-то.

Но Кучеренко, почти не сбиваясь, зачитал по памяти сочинение преподобного Серафима Саровского «О цели христианской», с незначительными своими поправками типа: «Стяжание Духа Божьего — не деревянных, не зеленых!» — Благухание поплыло над толпой — накануне он раздавил цитриновой.

— Купуйте! — но ради Духа Святого! Ибо все, что не от веры, грех есть! Ну, чего же вы не купуете... Купуйте! Истинно говорю вам! — и указал пальцем на брошюры. Стали расходиться. Скоро вокруг человечка не осталось никого. Ковыляя, удалились и ягодицы. В. проводил их взглядом.

— Не поняли, как всегда... И присно... — сказал Кучеренко.

В. подошел к ящику и купил. Перелистал, положил в сумку.

— Голова — это ничего! Было бы здоровье! — успокаивали В. — Ты давай, ешь побольше! А знаете, Карлыч, он ведь художник — бля буду! И татуировку может, и вообще!

— У нас Карлыч тоже рисует, у него ящик специальный, на ножках — вот только краски кончились, а так — хуячит на соляре, потом ставит на солнце — пробздеться, а когда соляра выветрится, в рамку берет — и на стену! У него дома этого до хуя! Верно, начальник? О! Ушел-обиделся! Не любит, когда про это...

— Вы только не перетруждайтесь, — ровно тарыхтел Карлыч. — Ни к чему!

— Так неудобно же — все копают!

— Вы, как я вижу, к подобной работе непривычны, у вас лицо нехорошо покраснело, температура нынче — тридцать два градуса в тени, я по термометру проверял, и шапку наденьте — солнечный удар вполне возможен... Кроме того, в шапке вы будете выглядеть более... э-э, дайте-ка я гляну... да-а, надо было швы наложить. Сходите-ка лучше к реке, принесите воды и вообще... умойтесь, только голову не мочите. А гематома уже спадает, вот только на лбу у вас зеленое... и фиолетовое немного...

И не ходите тут в одиночку. Вы, должно быть, и сами знаете... Горы... я, наверное, говорю банальности, вами слышанные, но — этим летом уже двое... и это только по нашему району. Что же касается местных... а возьмите вы наш собственный контингент! Вы же видите...

Гольцберг стоял перед зеркалом. На нем был темно-синий велюровый костюм.

— Кто такой Амедео Модильяни?

— Художник...

— Ну?

— Что ну?

— Что он рисовал?

— Да так, всякое... Баб рисовал... А почему, вдруг — Модильяни?

— А себя рисовал?

— Автопортреты? Ну! Ясное дело!

— Ну и как он на лицо?

— Кто, Модильяни? Смуглый, кудреватый... Вылитый ты!

— Ага, ссу-у-ки! То-то! Мне уже говорили! Эта, как же ее, с художественного вашего института!

— Ты даже еще лучше Модильяни — ты на Жерар Филиппа похож, бля буду!

— Кто такой?

— Актер, который Модильяни играл. Кино такое было — «Монпарнас 19».

— Понимаешь, — говорил Вадик Цемш, — когда у тебя есть выход из положения, где нет другого выхода, у тебя нет выбора. То есть — ты понимаешь — этот выход и есть безвыходное положение!

У него отклеилась вставная челюсть, и он подхватил ее на лету.

— Н-на б-бу-бу-бу... спорю — п-пройду!

Четверо в линялых штормовках, поверх новых «олимпийских» костюмов синей шерсти, вышли проветриться.

— Степаныч...

— П-ппройду!

— Степаныч... Заика хренов, убьешься!

— Я и-и...

— Степаныч, стой, твою мать!

Но Степаныча несло... Он выдернул рукав из чьих-то пальцев и своей легонькой походочкой двинулся к карнизу. Его пытались догнать, да куда там! Все было покрыто ледком. Мастера спорта спешили на карачках — это было смешно!

Рожко уже ступил на карниз. В хорошую погоду тут тренировались — с верхней страховкой. В гололедицу сидели дома — в бетонном ДОТе, приспособленном под альпбазу. Туда-то они и вернулись, и продолжили... Степанычу пообещали еще бутылку — выигранную. Хотя, собственно, с ним никто и не спорил.

После удара головой об отполированный водой валун В. решил упорядочить отношения с женой.

— У нас, между прочим, ребенок! Пишет о тебе статью? Отлично! Но увижу еще раз — удавлю! Пусть не обижается!

— В тюрьме думаешь о воле, а на воле про всякую хуйню! — сказал Гольцберг.

Художник Ярошенко достиг полной самореализации в коммерческом плане четыре года назад и как-то не заметил этого. Общая сумма вкладов достигла 420 000 евро, не считая недвижимости. Посредническая фирма процветала. Если подумать, все было отлично. Но он не думал.

В овражке за его домом в Шварцвальде стоял пяток высоченных елей. Ели были его собственные. Под ними были кусты. Дом почти скрывался за косогором — если сесть на землю. Он так и делал.

Ярошенко сидел, упершись спиной в свою ель, и смотрел на лес. Он начал со вчерашнего вечера. Утренняя бутылка «Баллантайна» была почти пуста.

Дом, построенный по проекту архитектора Каца, не оскорблял вкуса. Из всех окон был вид на горы и леса. На обоих этажах имелись каминные работы известного австрийского дизайнера Вовочки Малахова, из стиля несколько выпадал только купленный по случаю итальянский травертин во дворе, но это были уже никому не доступные тонкости. Лестницу он придумал сам. Она была из мореного дуба и висела на невидимом внутреннем стальном крепеже. Кроме того, Ярошенко внес в интерьер мощный дубовый же стол, изготовленный по спецзаказу мебельной фирмой «Fornithureferwhaht», и, наконец, последний мазок: будучи в нетрезвом состоянии, он взял подвернувшийся кстати шуруп и украсил столешницу трехбуквенным клеймом родины.

Все утро он подстригал кусты. Мог бы нанять соседа, но привык к бережливости в мелочах. В 10.30 он вдруг бросил резак и спустился к елям. Там он допил, подумал, посидел, и вдруг швырнул бутылку в соседские кусты, что было равносильно поджогу. Кругом была прошлогодняя трава, почти такая, как надо, под соснами лежал мокрый пласт снега, изумрудный в черных цыпках. Солнышко припекало сквозь чистошерстяной пиджак. «Баллантайн» уже раскинулся вокруг сияющими далями, оставалось лишь сесть в электричку, прислушаться к ее плавному толчку и лететь, неудержимо набирая скорость, а потом сойти в полях, «ничем, ничем не беспокоясь...» Но мысль некстати скакнула за дом, к бордовому «Вольво», а он мог ехать только в одном направлении — в город Вена, на буром «голубом Дунае».

— И без меня, обратный, скорый-скорый по-о-езд! — шепотом запел сам себе Ярошенко.

Он попытался подвести итог. Нужно было загнать в себя. Он оглянулся вокруг.

Спереди стояли дремучие заросли в бородах лишайника. Сзади его прикрывала масса собственного холма — оттуда он не ждал подвоха. Вообще говоря, он сидел в кустах, полпартизански озираясь. Наступал момент, когда уже ничто на свете не могло отменить действие всосанного. Даже приступ рвоты. Клетки запели. Вот уже отмерла необходимость в контроле лицевых мышц, глаза утеряли полер, проступила неопределенная улыбка, свесился на лоб мокрый клочок волос. Сидящему отсыревшим задом в траве никто не доверил бы даже просто снять телефонную трубку и сказать: Jaroshenko!

...вот и все... следствие закончено. Дело закрыто. За абсолютным отсутствием улик, состава преступления, соучастников,отягчающих обстоятельств... Следователь уехал на дачу, напился и уснул. На неопределенный срок, возможно, навсегда... Собственно, никакого дела и не было. Во всяком случае, ощущение именно такое — безнаказанности. Даже ненаказуемости.

— И никто, слышите, — никто! — подумал почти вслух Ярошенко, — не может посягнуть на! Покой полноправного гражданина суверенной Австрийской Социалистической Республики! Его право на труд, отдых, работу и жилище. В том числе и бывшие жены. Полностью удовлетворены материально. Удовлетворению же их духовных запросов теперь не мешает ничто — даже он сам.

Финансовая декларация составляется компетентнейшими лицами — ими же и контролируется.

...откуда же этот идиотский комплекс вины, выдуманный, кстати сказать, родной Венской школой. Лично доктором Фрейдом... точнее — Фройдом, если правильно выговаривать на австрийском диалекте. Следователь — чисто кафкианский фантом, феномен советско-австрийского психического постпространства... подпространства... поцпространства... сранства... Для борьбы с ним, помимо «Баллантайна», успешно разрабатываются новые методы. Псиллоцибиновые грибы

дали уже третий урожай — их было засеяно на два контейнера больше, чем за расчетный период прошлого года, каковые контейнеры продаются в двух кварталах от венской квартиры-студии. Выращивание и потребление никак не преследуется. Ненаказуемо... узаконено... возможно, даже где-то кем-то приветствуется как механизм саморегулирования... гомеоста-та... популяции венских гуманоидов... этих козлов, запретивших продажу ЛСД...

Он вдруг вспомнил приступ буйной радости по поводу отчисления из аспирантуры Киевского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, его славного атематического факультета, выпитые с друзьями шесть бутылок портвейна розового. Как весело он шел домой, падал, дико смеялся, пускался бегом! Блевонул только раз, в роще.

Он обернулся и, увидев бледно-золотой холм, захотел вдруг взбежать на него. Смущала только крыша какого-то дома, торчавшая сзади.

Лицо ее напоминало прямую кишку, полностью готовую к половому акту. Оно лучилось, трепетало всеми своими морщинками, собиралось кокетливыми складочками, едва не пело от счастья. Сотрудница же министерства, худая дама, была одета как дешевая проститутка: замшевые сапоги гармошкой, миниюбка на сухонькой задничке, рыжая замшевая же курточка, расшитая серебряными узорами, и угрюмая блондинистая челка до глаз. Подмышкой она зажала сумочку в виде золотого цилиндрика на золотой цепи. Она вела себя сдержанно. Едва улыбнувшись строго поджатыми половинками губ, прошла в железные ворота. Директор несколько оступила в сторону, при этом ее зад произвольно вилял, как у нашководившей собачонки. Тем временем высокая гостя двинулась к жестяному сараю школьного здания. Ее зад тоже вилял, но совсем иначе! Он хмурился, его траектории хранили достоинство и вместе с тем толерантность, он как бы указывал окружающим их место, признавая за их личностью право на самоопределение.

В. наблюдал эту сцену из своей будки, как песиголовец, окованный крестным знаменем.

— Кто их заставляет?

Кучеренко нашел десять копеек, а потом еще две. Все утро он бродил по квартире, периодически подымая с пола халат и обшаривая его карманы. Заглядывал под холодильник, шуршал старыми квитанциями в конфетнице, долго топтался в прихожей, ощупывая все, что висело на перекошенной вешалке, — но это ни к чему не привело. Сквозняк постукивал входной дверью, и сквозь дыру вырванного с мясом замка он видел, как вернулась из магазина соседка. А потом вдруг нашел гривенник — между стенкой и детскими лыжами.

На улице его прошиб холод. С неба сыпался мусор — какие-то ледяные иголки, ломаные снежинки — черт знает что, и все это сверкало в бледных солнечных лучах и неприятно звенело — а может, звенело в ушах или просто в голове.

В полупустом троллейбусе было не лучше. Поблескивало уже вовсе неизвестно что, а звон не утихал. Кроме того, заднее сидение подбрасывало, и после каждого взлета желудок опускался на место с некоторым запозданием.

Вошла женщина и села рядом. Сердце остановилось — и тут же снова застучало. Шум в голове прекратился, в глазах прояснилось, словно киномеханик вдруг навел резкость. Симптомы похмелья, мучившие все утро, исчезали, но это не радовало, т.к. стремительно нарастали другие, похуже. Такое случалось — изредка, раз в два-три года...

Киномеханик продолжал крутить. Розовая бумажка на полу выросла вдруг до размеров газетной страницы, и он различил на ней номер — 856 442. Это был абонементный талон Киевского ТТУ, и отвести от него глаза не было никакой возможности, как и повернуть голову. Наконец, билет исчез. Вместо билета возник голос, он настойчиво чего-то добивался — с глубоким сознанием собственного превосходства и тайной неправоты. Голос выходил из отвратительного стоптанного ботинка. Что ботинок не чищен со дня его приобретения, Ку-

черенко знал твердо. Он даже не испугался, как обычно, — скорей смирился. Что-то огромно-мутное ломилось в голову, и надо было защититься, он сосредоточился, как мог.

Контролер был высок и худ. Помимо мерзких ботинок на нем были синяя куртка — такая же, как и у самого Кучеренко, только новая, и меховая кепка.

— Э! Алё! — Женщина не реагировала.

— Алё! Вы шо! Предъявите, говорю, билет!

Контролер сначала обнаглел, а потом растерялся и от этого обнаглел еще больше — ковырнул пальцем маленькую сумочку, и женщина судорожно сжала ее обеими руками.

Тут Кучеренко выхватил измятый рубль и сунул его контролеру в живот. Контролер взял деньги и ушел.

— Совести нет! — сказал он напоследок.

На остановке Кучеренко выскочил первым и подал руку, причем сам себе удивился — женщины его не интересовали. Она была в поношенной каракулевой шубе и такой же шапочке. Двигая сумочкой вверх-вниз, стала что-то бурно объяснять. Слова как-то ускользали, казалось, она говорит на незнакомом языке. Тем не менее он все отлично понял.

— Ничего подобного! У вас ничего нет! Вам ничего не скажут, результаты не готовы, а скажут... в четверг! Никуда не надо идти!

Они взяли за руки и пошли.

В крохотном вестибюле его затопило счастье. Все вокруг приобрело глубочайший смысл. Особенно нравилась дверная пружина — она сжималась и разжималась, с натугой открывая и закрывая двери.

— Спасибо вам! Ах! Спасибо за все... Я иду за своим приговором! Не ждите меня, вы и так потратили на меня так много своего времени!

— Не идите! Его нету! Он будет после обеда!

— Нет же, нет! Это мой коллега! Я звонила утром, и мы твердо договорились!

Она ушла. Он взял с круглого столика брошюру «Профилактика онкологических заболеваний в свете решений XXVII съезда КПСС и XXIV Съезда КП Украины» и не отрываясь смотрел на дверную пружину.

Женщина вскоре вернулась.

— Его нету! — крикнула она. — Будет после обеда!

Они пошли в парк. Там было мутное солнце и черные деревья на пустых аллеях. Женщина зачем-то вскочила на скамейку, кажется, читала стихи. Ясно запомнилось только одно — он, Кучеренко, дал твердое обещание сожительствовать, хотя у нее и муж, и три дочери — Верочка, Наденька и Любочка.

Взбешенный хамством кассира, В. потребовал жалобную книгу. Попытался отойти и присесть на причальную тумбу, но книга вырвалась из рук и повисла на прочной, морского вида, бечеве. Тогда В. изготовился писать стоя, распялил книгу на стене и увидел — предыдущую жалобу написала его теща. Ф.И.О. полностью — Мангуп, Изабелла Марковна. Писать расхотелось. Книга так и осталась висеть на бечеве, и кассир, ругаясь, вышел из будки и водворил ее на место.

Покидая причал, В. обернулся — на фоне рейда сияла вывеска:

ПОРТПУНКТ «АРТБУХТА»

— Анатолий? Одну секунду! Нина! Нина! Скорее! — раздался в трубке мужской голос.

— Алло! Анатолий? Огромное вам, огромное спасибо! Все подтвердилось! В четверг, как вы мне возвестили! То есть ничего не подтвердилось! Я... знаете, извините меня... Я вела себя... вы понимаете! Это все был такой ужас! Простите, ради бога!

— Сорок с лишним, три дочери, — думал Кучеренко. — Врач-онколог. Стояла на скамейке и читала стихи, прыгала, хохотала, пыталась поцеловать — и поцеловала неловко — куда-то в бороду. Влюбилась, по-видимому... Но только, когда не было ясно, когда еще смерть не отменили наверняка, а когда стало ясно, опомнилась.

Она говорила невероятные и удивительные вещи, будто только что обрела зрение и разум. Это было необыкновенно просто и верно, и он удивлялся, почему сам этого не видел, не додумался...

Почему-то не было никакой возможности припомнить, что же именно она сказала тогда.

Откуда все-таки взялся рубль? Он сунул руку в карман — сквозь дыру до самого дна, где мокрая подкладка смыкалась с якобы водонепроницаемой тканью куртки — видимо, застрявшая там бумажка каким-то образом совместилась с пальцами.

На секунду и он увидел сияющие пространства, где можно было бы жить по-другому, сделал даже несколько шагов — но тут же застеснялся, обернулся и засунул руки глубоко в карманы.

— Правда — самое многозначное слово на свете, правдой может быть что угодно. Когда-то это меня измучило, сейчас мне кажется ужасным противоположное: о том, что такое правда, в абсолютном большинстве случаев можно просто договориться. Ты никогда не занимался переводами? Я так и думал! Взгляните в толковый словарь! Слова объясняются с помощью других слов! Например: фрукт — плод! А плод — эмбрион! И т. д.

— Не темни! Давай конкретно — про правду!

— Так я и говорю — и это не так просто осмыслить... дело в том, что правда, это...

— Я скажу! — вклинился Шая. — Приходит мент к писателю и говорит: Вы, извините, наврали! Я лично составлял протокол! Не пять метров, а два! Не грузовик, а автомобиль «Волга», цвет — зеленый! И не девочка маленькая, а в нетрезвом состоянии баба, пятьдесят два года!

А писатель ему на это: «Твой протокол люди читали — и что? Может, кто заплакал? А между тем человек погиб! Где же тут правда?»

А мент запсихонул: «Я, мол, твой сраный рассказ в газете читал — и не плакал! А писатель-прозаик и говорит: Я соседке читал, так она рыдала! А мент: ну и дура!»

Ярошенко затеял уборку. Собственно, необходимость в этом назрела давно, да все как-то не было времени. Загруженный делами, тянул до последнего, и вот, в воскресенье вечером, назрела другая необходимость, куда более насущная.

Симптоматика не оставляла места сомнениям — мелькали перед глазами какие-то блондинистые картинки, что-то там такое нежно пульсировало, курчавилось, лоснилось... Не думая вовсе об уборке, набрал он номер некоего бюро и заказал услугу. Вежливо поблагодарив, положил трубку, оглядел квартиру, и спохватился, завертелся, засуетился: вернул на полку книги, вынес мусор, вытер пыль, и как-то увлекся процессом — отмыл кафель, отпылесосил пол, отпидарасил унитаза... Заодно уже оттер плитку и отполировал до блеска бокалы и рюмки. Сел и залюбовался. «Надо бы и себя привести в порядок, побриться», — подумал он. — «И вообще подготовиться!» И тут вдруг осознал: привиделась ему картонная упаковка из китайского ресторана, полная мятых окурков, перекрученная жгутом простыня свисающая с дивана, стол с присохшими к посуде обглоданными куриными лапками, китайская палочка в коньячной рюмке, разбросанные там и сям гигиенического вида салфетки с подозрительными пятнами, ванная с застрявшими в стоке пергидрольными волосами и необходимость извлечения оных при помощи пинцета, вонь парфюмерии и общее ощущение несвежести, опоганенности и поруганности (чего? почему?), а также легкую, но противную головную боль и мерзейший вкус во рту — словом, все обстоятельства, порождающие привычный с детства комплекс вины. А главное, необходимость последующей, новой еще уборки. Последнее обстоятельство оказалось решающим. Вдохнул, встал, набрал тот же номер и все отменил.

Жизнерадостная бухарка увлеклась старинными балладами на фоне средневековых замков.

Сперва все мыслилось как обычно — в масштабе стадионов. Это был один из тех неразрешимых вопросов, какие ставит перед художником сама жизнь: толпы не вмещались в замки — раз, пытаясь понять текст, публика излишне напрягалась — два. Кроме того, многие не знали, что такое «баллада». Тогда замки стали делать из картона, а тексты научилась писать сама — они оказались даже лучше — типа старинных баллад!

Успех полный! Широкая публика с восторгом принимала все похожее на замок!

Акомпанировал Ричи Блекмор.

К тому же идею удалось сохранить в чистом виде — для публики поуже.

В Европе оказалось навалом настоящих замков. Туда пускали кого угодно. Архитектор Кац справлял бармицву старшего сына в замке. (Туалет во дворе, невозможные лестницы — Алиса вывихнула ногу!)

Алкоголь необходимо было вводить в организм регулярно. Куда лучше препаратов, которые, без сомнения, применили бы специалисты, — стоило только к ним обратиться.

— На что жалуетесь? — слышалось ему по дороге в город, как только вддали показывались крестики Кирилловской церкви. Случалось бывать и в тамошнем парке... Встречался с практикантами, бывшими соучениками, осторожно советовался... Вокруг гуляли пациенты из тихих, а где-то на шестом этаже сидел молодой доктор Гуральник.

Алкоголь относительно надежно глушил излишнюю активность мозга, и Кучеренко видел стол и стул, Бовшивера и Голинского, а не вдруг черт знает, что. Кроме того, алкоголь был доступен и дешев, не требовал рецепта. В крайнем самом случае в дежурной аптеке круглосуточно отпускали спиртовые настойки: боярышник, пустырник, валериану и цитриновую. Разводи водой из крана, а нет воды — пей так!

Из-под черного ската троллейбуса брызнуло широким веером — Голинскому на штанину. Он задумался.

«Вот, в кои-то веки решил выйти пораньше, прошагать пустыми еще улицами, поработать, пока никого нет... И на тебе! Собаки вообще редко гадят на проезжей части — на то она и проезжая. Разве только ночью... Беззащитная кучка исчезает под колесами первых автомобилей, вышел бы в девять — ничего бы не случилось». Голинский встряхнул загаженную штанину. Несколько частичек упали неудачно. Тогда он достал носовой платок и обтер обувь. Платок скомкал и нес в ружье до самой остановки — там была урна.

— Витя! У тебя брюки в говне!

Одно светило вставило другому, да нет! Просто в сидение стула... Но главное тут не куда, а что! Там у них, в этом самом онкологическом институте среди прочего дерьма были такие кобальтовые иглы... Лечили ими как-то... Воздействовали на идущие неверной дорогой метастазов ткани. Короче, сидел он на этой игле, а коллега его заходил узнать: как дела, как здоровье, которое, естественно, все хужело, аж пока вся задница не распалась под воздействием жесткого излучения! Там же, в родном институте, и лечили, и следствие вели, там и окошел. Известнейшая, между прочим, личность — доктор наук, профессор, членкорр и т.п. А? И который вставил, — то же самое! Естественно! И профессор, и все прочее! А? Не поделили чего-то... Два паука в одном институте... Ну, тот ему, естественно, тоже гадил, как мог...

Слева, справа, а также впереди сидели венцы. Они сидели и сзади, в чем можно было убедиться с помощью зеркала заднего вида, только что протертого тряпочкой балканизатора.

Мигнуло зеленым. Продолжая сидеть, венцы плавно двинулись вперед и, выполнив требование знака «только направо», устремились дальше, к своим рабочим местам — а на деле к следующей пробке.

— Я винтик! — думал Ярошенко. — Я шпунтик ихнего механизма! — и поймал себя на том, что это же думал и вчера.

Рутинная работа серого вещества тут же выдала нехитрую ассоциацию — он вдруг увидел себя поющим: он пел о нежных письмах, отбивая такт расставленными ногами. Ноги приходилось расставлять, чтоб не задеть впереди идущего, т.к. песня была строевой.

— Р-рота! — кричал подполковник Чалый на выдохе, и Ярошенко слышал: «Ур-роды!»

В те времена главной проблемой жизни была посещаемость. Военную кафедру он ненавидел — в отличие от университета в целом, который лишь презирал, — как и все с ним связанное, в том числе и себя — за то, что являлся его студентом.

Подполковник Чалый нехорошо улыбнулся. Он уже срезал половину потока и, не желая терять времени, решил уничтожить остальных одним массированным ударом:

— В колонну по четыре становись!

И тут оказалось, что Ярошенко, посетивший одну только вводную лекцию, отлично марширует, ловко и артистично проделывает упражнения. Как-то втянулся. Попал «в ногу», слился, так сказать. Причем автоматически, для себя самого незаметно, стал копировать пластику Чалого — и получил зачет, мало того! — был поставлен в пример прочим.

— Ну, ты даешь! — начал подползать к нему отличник-студент Хильковский, по кличке Хилый, жополиз Чалого...

— Че-ре-здве! — дико заорал Ярошенко. — Через-две зимы! — и попытался обогнать мышиный «Фольксваген». — Атслу-жу! Ат-служу какнадо и вернусь!» — и вдавил педаль. — Ат-саси! — крикнул он мышиному «Фольксвагену», вылетая на полосу автобусного движения.

(Последний раз такое было зафиксировано в Вене одиннадцать лет назад, когда из знаменитой больницы «Розенгрюнхее» вырвался Рудольф Гальштадтер, «Венское чудовище», сумевший расчленив свою тетю пластмассовым совком для мусора.)

— Пропадоры!

В результате он явился на работу раньше обычного.

...и почему это Гальштадтеру не сиделось (лежалось) там, куда его поместило гуманное австрийское общество?.. Оно могло бы просто поджарить на электростуле, или что там у них нынче... Кажется — ничего... реставрация гуманизма... а не так уж давно, после аншлюсса, все обитатели «Розовозеленохолма» получали «геникшосс»¹... Деструктивно-садистический тип культуры? Экономия бюджетных средств? А ведь это и сейчас актуально! Койко-день стоит около пятисот юриков... Между прочим, больничку-то содержат за счет трудящихся... одного только подоходного в этом месяце... А может, сдать, и само-

¹ геникшосс — выстрел в затылок (нем.).

му полежать-отдохнуть — на средства трудящихся? Куда там! Замучают вопросами... про тетю, и как именно дрович! Бедный Гальштадтер!

Движение стало замедляться и плавно сошло на нет. Вперед, в океан автомобилей вмерз трамвай. Толстая женщина протискивалась на другой берег. У нее было отвратительное мужичье лицо, грубо-костистое, с тонкими бледными губами. — Неужели можно разрезать человека пластмассовым совком? — подумал Ярошенко.

— Радиостанция РЭКА, голос Израиля... радиовещание на русском языке... Уважаемые радиослушатели! Кто там у нас в эфире?

— Значит, так! Вопрос! В 1933-м его нашли на ступеньках детского дома, и записка такая: зовут Ицик! Фамилию получил из-за волос, а отчество солдата Платона Ракова, потом долго жил в Одессе. Это был легендарный... Кто?.. Легендарный — кто?

А сейчас для вас поет Зафик Бен Цви!

— Ваня Солнцев? ...из-за рыжих во... Говорите, вас слу... Да! Да! Герой одноименной книги В. Катаева «Сын полка»!

Художник Цемш учился в изостудии Осташинского. Там приобщали к искусству талантливых детей киевских нехудожников. Он проучился два с половиной месяца и все это время посвятил подготовке к выставке, посвященной 50-летию Великого Октября. Он сделал памятник Ленину. Пластилиновая фигура вождя стояла на постаменте, окруженном тумбами, и была узнаваема моментально. Небольшой цилиндрический выступ на месте головы не мешал этому. Правая рука указывала единственно верный путь, а левой не было. Сам того не подозревая, юный Цемш решил проблему, не решенную прочими авторами.

Монументальное искусство не терпит вопросов. Например: а что делает левая рука? Живописцам было проще — Ленина ставили боком. Скульпторам, чью работу обычно можно обойти кругом, левая рука буквально отравляла жизнь. Чего только они ни делали! Вывертывали лишнюю конечность за

спину, накрывали пальто... Окончательным решением в рамках соцреализма была бы конная статуя Ильича. Лево́й рукой можно было бы, если не натягивать, то держать поводья — просто и естественно, как это делает памятник Щорсу, указу́я на Киевский вокзал. Эта идея прослеживается, впрочем, в пеших статуях. Многие из них лево́й натягивают лацкан пальто. Разрушится бронза, обратится в пыль базальт — сама планета не вечна. Без сомнения, человечество на пути своего прогресса непременно найдет способ сохранить произведение — в виде простой информации! А ее, как мы знаем, всегда можно доматериализовать так, как нужно, — в плакатах, чудоголограммах прочнее стали — или еще как. Прогресс дойдет до того, что преодолет пространство, да и время тоже, люди узнают обо всем! И тогда зеленый пластилин займет свое место в мировой Лениниане...

Цемш утверждал, что украинский народный танец «гопак» есть ката боевого искусства запорожцев, особенно настаивая на том, что знаменитые прыжки танцоров ансамбля Павла Вирского не что иное, как приемы поражения конного латника безоружным казаком — путем удара чёботами в лицо. Работал и по Парящему орлу.

Тренировался он в виварии. Условия там были подходящими — для размножения пресмыкающихся, т.е. тепло и сыро. Цемш быстро приобрел характерный для Юго-восточной Азии вид: небольшое его тело высохло и пожелтело, а на лице появилось выражение перманентного страдания. Пахло от него измученной змеей. К счастью, виварий поражали неизвестные эпизоотии, а может, его население дошло от питания отработанными в инфекционной лаборатории грызунами. И тогда занятия переносились на пленер — в рощу при железной дороге. Спасало и то, что зав.виварием был против тренировок, особенно по школе «Ковыляющая утка», сопровождавшимися энергетическими ударами в хлипкий дощатый пол, в связи с чем Цемша периодически освобождали от занимаемой должности. Но потом его всегда восстанавливали — он был скрупулезно точен, добросовестен, никогда не опаздывал и не пил ничего, кроме кипятка. Со временем появились и

ученики. Небольшая группа энтузиастов. Они пришли в виварий разными путями — одни интересовались восточными единоборствами, другие — философией, а кое-кто и змеями. Втянулись в занятия и склонные к алкоголизму лица, распивавшие на территории, в развалинах, окруженных одичалой растительностью. Все трое подпали под магнетическое обаяние Учителя.

Однажды в электричке, между станциями «Святошино» и «Пески» он услышал разговор о манихействе, катарах и о ереси богумилов. От самых «Песков» до следующей станции «Тетерев», неотступно думая об услышанном, Цемш совершенно самостоятельно сформулировал кое-что посерьезней: мир создан злым Демиургом, коий питается человеческим страданием.

— Как все просто и понятно! — подумал Цемш.

Жизнерадостная бухарка каждой молодой талантливой женщине подарила бы по замку. Нюсе она подарила бы самого Ричи Блекмора — если бы у нее был еще один.

— Все женщины талантливы! — утверждала она. — Нужно только уметь постоять за себя!

В. не верил никому и никогда, даже если говоривший сам себе верил. Зная за собой этот недостаток, никого не отталкивал, даже шел на поводу — но недалеко.

Этого так и не поняла бывшая жена — за одиннадцать лет совместной жизни. Она позвонила из Голландии и предложила В. заняться продажей продукции фирмы «Гербалайф» — под ее непосредственным патронажем. Говорила минут сорок — пятьдесят. В. взял садовые ножницы и занялся удалением стручков с кустов олеандра, трубку он прижимал к уху плечом. Жена осталась в твердой надежде. Она верила тем, кто был способен ее слушать. В. получил лишних пятьдесят шекелей сверх обещанных за уборку сада.

Это был единственный случай получения им денег при помощи разработанного фирмой «Гербалайф» лучшего в мире маркетинга.

Впрочем, оказалось, жена говорила чистую правду — достаточно лишь прикоснуться к «Траве жизни» и прольется золотой дождь.

Сама она ездила с миссией в Куала-Лумпур. Там, в сорокаградусной жаре, поливаемая тропическим ливнем, на скверном английском убеждала местное население встать на Путь. Кое-кто из небуддистов откликнулся, а один даже пообещал. Он оказался американским евреем, и по зрелом размышлении не позвонил.

Мать Цемша выкинули из больницы умирать дома, и она делала это вот уже целый месяц. Отец срочно уехал по важному делу — в командировку. Оттуда иногда звонили, справлялись: как, мол, дела?

У Цемша умерла мать. Цемшу было восемнадцать лет, и он никогда не видел, как умирают. Он был совсем один, спать приходилось мало, а через неделю ему стало невдомек — спит он или нет.

Первый опыт страдания наложил отпечаток на все последующее. Дурацкий разговор в электричке лишь спровоцировал переход на словесный уровень давно и намертво усвоенного.

Тренировался он каждый день, зимой и летом, независимо от погоды. Избивал специальный тренажер или просто воздух. Спарринга не любил. Партнеры всегда делали неправильно. Куда им было до истинного его противника!

Истинный партнер Цемша имел вид чего-то завернутого в белое, в руках он обычно держал зазубренную косу. Запах (пусть астральный!) был соответствующим.

Победить его было невозможно, а об убить и речи быть не могло.

Он имел привычку появляться за спиной собеседника, и тогда Цемш сбивался и умолкал — ненадолго.

Когда же Цемш оставался один, то старался ударить — поточнее и посильнее. Целился ногой в костяной лобок, а прарвой — в челюсть.

В. упрямо шел вверх. По его подсчетам он уже восемнадцать раз взошел на Эверест. Именно такую высоту дали сложенные вместе лестничные марши г. Хайфы, по которым он поднялся за полтора года работы в перевозочной конторе «Братья Лоевы».

Вялые его мышцы окрепли, спина стала плоской, а грудь наоборот, выгнулась колесом. В лице появилось что-то лошадиное, походка стала неторопливой, а лексика — непечатной. Пальцы огрубели и с трудом удерживали авторучку «Pilot», которой он заполнял нигде не зарегистрированные квитанции Лоевых. Появилась привычка расчесывать пятерней постоянно разъедаемый стекающим в штаны потом анус.

Чтоб не спать, В. воображал себя в горах. Типа он восходит на известнейшие вершины мира — Нанга-Парбат, Пик Коммунизма, Канченджангу... Ему даже стали сниться соответствующие сны: бесконечная тропинка среди каменных глыб, сине-лиловые тени, осторожное переступание по снегу, воздух, от которого липко смерзается в носу... Все выше и выше... вот только ноют зачем-то вскинутые над плечами руки. Наконец, ровная площадка. Дальше идти некуда. Прямо над головой проплывают перистые облака стратосферы... И тут он приседает и с легким стуком ставит на лед стиральную машину «Занусси».

Таскали в основном нищенский скарб своих соотечественников — местные избегали братьев Лоевых — и правильно делали. Лоевы всегда торопились, опаздывали, роняли, ударяли, мяли, оставляли в подъездах длинные царапины и рванный картон, забывали установить на место снятые с петель двери, выпивали пепси и рыгали, мочились, не закрывая дверей и не спуская за собой воду, божились на трех языках, включая бухарский, слезно требовали добавить и уходили, разговаривая по мобильному телефону.

Но доходы скудели. К концу второго года поток репатриантов стал мельчать, а потом и подсыхать. Казалось, что уже все пианино «Украина», «Беларусь» и неподъемный «Красный Октябрь» втиснуты в кузова, втащены стоймя по кривым и узким лестницам в прокаленные солнцем пыльные помеще-

ния верхних этажей и придвинуты к одинаково беленым и загаженным стенам. Не сыпалась за шиворот труха из рваных диванов, не распахивалась вдруг пасть холодильника, обдавая запахом гнилых зубов, — мебель обновилась, электротовары завозились прямо из магазинов в заводской упаковке, одни лишь коробки с книгами, так и не распакованные, переезжали вторично или третично на новую квартиру. Но настал момент — «литературу» стали дарить грузчикам. В первый самый раз вышла неприятность — из перевязанной волосатым шпагатом пачки выпали «Афоризмы старого Китая».

— Возьми вон «Историю Западноевропейского искусства», восемь томов! Ты ж художник или кто?

— Клал я на твои восемь томов, я первый увидел! Тебе такому вообще «Графиня де Монсоро» полагается!

— Знаете, чтобы вы не ссорились, эту полезную в быту книжицу возьму я.

«Мудрец берет то, что остается», — как говаривал Лао-Цзы!

Но скоро в конторе скопилось три собрания белого Эренбурга, красно-бурого Фейхтвангера — два, зеленого Диккенса вообще не меряно, и это не считая Гоголей. Обобранный женой кандидат технических наук Пальчевский полностью восстановил поэтическую библиотечку. В. набил полную коробку эзотерики, читал в кабине, а после рассовывал по почтовым ящикам. Чижов пристрастился к «По тропам еврейской истории» а потом вник и в «Быть евреем» рабби Зальцмана-Шора.

Это было уже перед самым концом, когда Лоевы взяли за маклерские услуги.

Художник Грубман нарисовал царицу-субботу в виде молодой бабёнки, а на голове — роскошный венок из цветов полевых. Цветы эти не опознал бы никакой ботаник: то были «лилии долин» и «розы Шарона». Вообще-то все это можно было разобрать лишь вблизи — а издали различимы были лишь колористические нюансы, буйство так сказать, красок, тона-полутона и прочая дребедень. Поражала, впрочем, сила и уверенность мазка. Грубман считал, что нашел удивительно

верный ход! Как, в самом деле, рисовать духовные миры? Помимо грудей (на картине, кстати, довольно отвислых) царица-суббота имеет ведь и вполне мистические аспекты... Вокруг при помощи охры он разместил прямые углы и некие полуокружности выпуклостями вверх — стены, дома и купола Иерусалимские... Символ, духовный образ, так сказать, центра вселенной... Но это было еще не все. В левом нижнем углу картины сквозь мазки просматривалась темная фигура, знакомый смутно силуэт — длинноватый нос и что-то курчавое пониже висков. Пейсы?

— Груня, кто это? — спросил В.

Ответом была ласковая улыбка мудреца — близкого и простого, но в то же время знающего нечто бесконечно высокое, недоступное непосвященным...

— Пушкин!

— Пу, — переспросил В., — шкин?

— Пушкин, Александр Сергеевич!

— Неужели и он?!!

— Да. Он тоже.

— Как же я сразу не понял! — В. хлопнул себя по лбу. — Прадедушка — абиссинский принц! Даже кино такое было: «Арап Петра Великого», Высоцкий играл... Но мы теперь знаем, что эфиопы — это евреи! Почему нет? Я, лично, только за! Но, позволь! Все же он, как-никак, — русский поэт номер один!

— Ну и что?

— Зачем это ему встречать субботу?

— Тебе надо учиться! — горячо сказал Грубман — я знаю русскоязычного раввина, он считает, что мы, русские, сразу схватываем суть...

Ричи Блекмор выхватил у Эдди Хорна барабанную палочку и, широко размахнувшись, закинул в зал.

Ярошенко схватил палочку обеими руками и попытался засунуть в штаны. Это ему частично удалось (другим концом палочка упиралась в подмышку). Поплотнее запахнув пиджак, он активно забил в ладоши, воровато озираясь. Но на палочку никто не претендовал. Тогда он пощупал у себя под глазом — там уже напухало. На сцене Кендис Найт открывала ротик —

оттуда вылетала сольная партия Ричи из концерта 1972 г., хрипели динамики магнитофона «Юпитер» ценой 220 р. — во всяком случае, это было то, что он слышал.

Первую пластинку Ричи он купил в восьмом классе, когда «Ди папл» был еще «Дип перпл». Слушать ходил к Ткачу — у того был проигрыватель. Пластинка стоила сорок рублей. Пришлось занимать — где рубль, где два.

Родная мать, Забельская-Ярошенко, проникла в тумбочку сына и выкинула кассеты. Пыталась сломать магнитофон «Юпитер», но только погнула мельхиоровую вилку. Ей звонил доцент Орлик, куратор. Это было на первом курсе. С рок-н-роллом боролись.

«И сипа не ешь — запрещен он тебе! — задумчиво сказал Чижов. — Я, было дело, раз ворону съел! Били мы ворон, а потом все ушли... ну, мне, ясно, жрать захотелось, а нечего... Ну, я ворону поскуб-поскуб, обсмалил в печи, обжарил... Ничего, зуб только сломал... Дробь — второй номер!

Художник Конев решил отрезать себе яйца.

— Скопчество, — говорил Конев, — это... — и дальше нес чепуху, из которой ясно было только одно — дед Конева был скопцом (?). Конев приехал из Красноярского края — продавать картины, и его познакомили с Островским. Стояла зима 1988 г. Запад уже начал скупать авангард. Сначала Конев двинул в Москву, но там, как он считал, было засилие православных.

— Темный город! — выразился Конев о Москве.

Две картины Островский повесил у себя: одна из них называлась «Еловый лес», а другая — «Березовая роща». Картины ничего не предвещали.

Конева повели к Глухенькому.

— Яйца — это Глухенький! — сказал Островский.

Глухенький осмотрел органы Конева и не нашел никаких отклонений, равно как и заболеваний. Это был совсем не тот случай, как с Эдиком Коптевым, у которого, по мнению Островского, был «сифилис переднего и заднего прохода» и Эдик хотел повеситься...

Глухенький делал Островскому знаки за спиной Конева, пока тот натягивал носки, которые зачем-то снял вместе с кальсонами.

— Видите ли, — попробовал себя Глухенький в роли психиатра, — если вы отрежете себе половые органы, то вовсе не станете скопцом, а так, зазря себя искалечите! Ведь скопчество — это... словом, это целый ряд идей, с которыми вы, судя по вашим речам, не знакомы... Знаете что, я вам тут кое-что выписал. — Глухенький скрепил рецепт своей личной печатью. Это было снотворное.

Как и любой, по-настоящему крупный мыслитель, Цемш мог изложить суть за пять минут, но, как все мыслители вообще, был настолько зависим от собственных мыслей, что озвучивал их кому только мог, непрерывно. Слушая Цемша, Гольцберг уже на пятой минуте поинтересовался: а не «петух» ли он? Цемш отреагировал по-философски — продолжил изложение, не замечая, что Гольцберг уже занялся поглаживанием собственного члена, демонстрируя свидетелям этой сцены одновременно и свое отношение к философии как таковой вообще, и к философии Цемша в частности, а кроме того, иллюстрируя наглядно глубинную суть последней.

Возвращаться некуда: квартира продана, деньги растрочены попусту — на развод... Друзья дислоцированы в Вене и в том же Израиле. Бабы... Могут подкармливать и принимать амбулаторно... До поры до времени, пока задумаются.

На крайний случай — бомжевать. Зимой отвалить в Крым, а там видно будет...

Гольцберг снял с полочки литой шар из мутноватой пластмассы. Внутри были ракушки, морской конек и кроваво-красная витиеватая надпись: «Привет из Сочи».

— Поддай, будь добр, мне вон тот ящик — не этот, козел! Там, внизу! — скомандовал он.

Штымпок в желтой рубашке нагнулся, и Гольцберг, размахнувшись до самого абажура, ударил его в почку, поставил шар на место и вышел в коридор. Там он снял крышку со ско-

вороды, взял себе котлету и вернулся в комнату. Штымпок корчился на ковре. У него начались подозрительные позывы, и Гольцберг выкинул его в прихожую на кафельный пол.

— Совесть, если хотите, есть мера ответственности! — сказал он через час, когда штымпок почти пришел в себя.

Виленский слушал Цемша от подъема до ужина, включая обед, когда говоривший говорил с набитым ртом. Обычно Цемш требовал от собеседника, чтобы тот честно признал, что: события имеют тенденцию развиваться от плохого к еще худшему, человек не становится с годами моложе, смерть отличается от нас тем, что у нее есть время ждать, и т.п.

— Смотри, — говорил Цемш, глядя поверх Виленского в окно, где сгущались безнадежные венские сумерки, — ведь тебе плохо... — Последние два часа он говорил, не встречая никаких возражений, даже легкой отрывки, которую изредка позволял себе наевшийся еще за завтраком Виленский.

— Я понял! Это тебе плохо! — Наконец сообразил Виленский. — С чем Цемш охотно согласился.

Лена была в отличном настроении — вся красная. В. вернулся с ночной, принес в дом бутылку водки и краденый в порту ананас. Он тоже выпил и уже начинал было похрапывать, прижавшись к теплому боку. Голова его покоилась на пухлом атласном валике ее локтя.

— Ты такой маленький! — ворковала Лена, — у тебя, наверное, мало хромосом!

Уже многие годы никто ни при каких обстоятельствах не мог заставить его высказаться определенно — ни по какому вопросу. Особенно по телефону. Так, на вопрос хочет ли он после работы зайти куда-нибудь выпить пива поступал ответ: «Да! Но не сегодня и не на этой неделе!» Так что оставалось межгалактическое пространство для маневра.

С любителями футбола он говорил о футболе, но так, что никто не счел бы его болельщиком. Он совершенно свободно вел переговоры с представителем Войска Донского — с ку-

черявым чубом и в пиджаке от «Версаче» — из рукавов торчали огромные красные руки комбайнера-ударника, с московским бизнесменом по фамилии Штапельман, с замначальника Киевского военного округа генералом Добрым, а также с людьми, в присутствии которых чувствовал себя так, будто зашел в вольер задать корму кавказской овчарке (с располосованной мордой и обломанным желтым клыком) — в правой руке, далеко впереди, жестяная миска с дрожащими катышками, а левая прикрывает сморщенную ужаснувшуюся мошонку.

Он был неуязвим. В доме у него была икона преподобного Серафима Саровского, а в квартире, на стуле, гипсовое католическое распятие. Так что представители любой конфессии могли считать его не безнадежным — то же и атеисты. Между тем Виленский отлично знал, что на прошлой неделе он прооперировал мениск, который нажил в юности, занимаясь хатха-йогой, в ту пору, когда они жили в одном подъезде и не пили еще водку, а портвейн Таврический из граненого стакана, украденного из автомата для продажи газводы.

«Зачем он подсунул мне этого Цемша?» — несправедливо думал Виленский, забыв, что напросился сам. И горько не ошибался! Ему именно подсунули... Но подсунули так, что он ощутил себя и небедным, и безучастным.

Содержание Цемша было не накладней, чем содержание меченосца в аквариуме. Но встав утром, он начинал говорить уже в коридоре.

В конце концов Цемш вернулся в Киев. Поселился у отца, в двухкомнатной квартире. Там все было, как надо. Отец держал кур — в ванной комнате, но выпускал на прогулку — для пользы дела, прогулка и оправка необходимы при содержании в закрытых помещениях. Вставая по утрам, можно было, как в деревне, попасть ногой в теплый помет. Отец этого не замечал, ему было не до мелочей — он вел хозяйство, т.е. закупал продукты и корм, следил за яйценоскостью, сдавал посуду — это было завершением биопроизводственного цикла.

Двери открыл мент.

— Вот, — сказал он и попытался натянуть штаны на отвислое брюхо.

В комнате было необычно свежо. Видимо, мент распечатал форточку. Желтая рваная простыня свисала с кровати, под ней, на полосатом тюфяке, лежало сложенное вдвое серое шерстяное одеяло.

— Ревматизм, — подумал В.

— Вот, значит... —дохнул мент водочным перегаром.

Когда-то, в незапамятные времена, Степаныч воткнул ему между глаз окурок — всего на одну затяжку оставалось. Это было сразу, как они только въехали в торцевую комнату, — все четверо, и мент пытался себя «ставить». Сопливым его выводок еще не называл Степаныча «дядя Валя».

Посреди комнаты вилась узкая тропка. Крутые пыльные склоны уходили вверх до самых стен, образуя долину меж столом и постелью. В древнейших слоях когда-то залегали драгоценные титановые крючья, мотки репшура и прочее снаряжение. Но хозяин периодически производил раскопки, радуясь каждой находке. Где-то там валялись некогда и золоченые серебряные кубки, завернутые в зеленого брезента ВЦСПС-овскую палатку вместе с пачкой обставленных красными знаменами дипломов и почетных грамот. Другие эпохи напластовали поверх куски дерева всех видов — от неструганых досок до частей рояля, мотки проволоки, в одном месте из прорванного пакета просыпался гипс, медные и латунные листы, куски окаменевшей глины, банки с краской, рабочий комбинезон — измазанный и рваный, и прочее неузнаваемое, неразличимое под слоями пыли. Чего не было в комнате — так это пустых бутылок.

Поначалу мент вынашивал план: выкинуть к чертям алкоголика и тунеядца и улучшить свои жилищные условия, но был вял, нерасторопен и сам пил горькую, да и привык к Степанычу. И вот, теперь дождался — все образовалось само.

«Блаженны кроткие, — подумал В., — ибо наследуют землю».

Дубовый стол стоял там же. Когда-то на нем было зеленое сукно, укрепленное изумительными гвоздиками с медной шляпкой, а сам стол был побольше и повыше.

В. нюхал наваленные на сукне листья и понимал — ходить в школу необязательно, ненужно и вредно. Из пахучего вороха сыпался лесной мусор: хвоя, волокна мха и дохлый муравей.

В ту осень они делали «картины».

Гуашью набрасывали — В. лес, а Рожко горы.

— Гр-з-з-зиша, п-п-роще! П-полоска леса, поле, бурьян — и всё!

С эскиза снимали «кальку».

Листья проглаживали утюгом, наклеивали на газету (укрепленные газетой листья не крошились) и по кальке вырезали ножницами куски пейзажа.

Их, аккуратнейшим образом, следовало установить на место.

Сперва все шло по плану, из-под утюга валил пар. Но листья трещали, как в костре, и это наводило на мысль о чае.

Рожко наливал себе — пальца на два — и разбавлял кипящей жижей из железного чайничка. Чайничек был тут же — под рукой, на плитке.

Потом резали фрагменты. Стол покрывался обрезками. Их складывали в кучки — по колерам. Пили чай...

Калька обычно уже лежала на полу. Рожко ворошил пинцетом, выхватывал из кучки обломок бледного осинового листа (на деле это был снежник) и лепил — туда! В ледяной воздух, в ущелье, в отвесные скалы, в осыпи, трещины... Туда, где ноги ходили и гнулась спина, куда они еще пойдут, — как только дядя Валя бросит пить.

Сам не зная зачем, В. зашел к менту. Ему налили, насыпали салату. Это был салат «оливье», с большими кусками белой колбасы.

— Выпьем, что ли? — сказал мент и указал на В. пальцем. — Степаньча ученик!

— Знаешь, мне тут надоело! — сказала Лена. — За копейку в церкви перднут! И арабы тоже!

— За копейку здесь никто не перднет! Даже если очень хочет...

— Козлы дешевые!

— Тоска по Родине? Люди везде одинаковы! Таких всегда полно. Просто раньше, «там», многое можно было себе позволить — от хорошей жизни... Я, например, позволял!

— Ты? Помнишь, как ты дал мне пятьдесят рублей, а завтра стал просить назад?

— У меня семья!

— Теперь у тебя никакой семьи! — назидательно сказала Лена, и В. заплакал.

Однажды В. посетил мастерскую Фрадкина и Эттингера. У них было крепкое дело. Когда-то, когда Эттингер еще не брезговал рисовать, он провел через худсовет серию плакатов по технике безопасности. Их сфотографировали и отпечатали негативы. Потом Эттингер их снова раскрасил, а кисточку не вымыл, а выкинул на лестницу. Плакат выглядел теперь шиворот-навыворот. На него клали обыкновенное оконное стекло и каждый, у кого только не дрожали руки, мог прорисовывать по нему черные линии и наносить масляную краску. Потом стекло вставляли в рамку — краской внутрь. Пачки плакатов грузили в багажник «Москвича» и развозили по объектам. Стекланные плакаты были красивы, гигиеничны, не боялись пыли — этого бича наглядной агитации, их можно было протереть простой тряпкой или рукавом. Главными заказчиками были СМУ. Оттуда звонили Фрадкину на дом: «Мосеич! Нечипорук беспокоить! Подъехал бы ты на неделе, подкинув бы комплекта два-четыре!»

Эттингер же стал мастером-наставником. Он обучал молодых художников. Один из них, по кличке Старый Какер, был выжившим из ума распространителем театральных билетов. Другой был зятем самого Фрадкина, а до того работал по снабжению в тресте «Стройгидравлика». Ныне изучал плакатное дело, мечтая со временем наладить собственную мастерскую. В неделю он делал три-четыре плаката, а более опытный Какер — четырнадцать. Этого хватало на всех уча-

стников и еще четырех мертвецов. Что еще надо человеку, у которого есть чувство меры, отличающее, как известно, истинного художника?

— Не надо только хватать ртом и жопой! — говорил Фрадкин зятю. — Главное — это уважение! Цени людей как таковых. Если для пользы дела надо посидеть с каким-нибудь выродком, выпить, поговорить по душам, или там натянуть завмастерской, седую манду Люсю Тадиевну — значит надо! Ты должен понимать... мы с Эдиком уже пожилые люди... Любая мандавошка может развалить дело, которому ты посвятил свои силы, мысль, отдал годы творческого труда...

Фрадкин любил говорить «они». «Они выпустили новые расценки», «они теперь перешли на хозрасчет», «теперь они не те, что раньше», «они тебе все дали — образование, хату», «они все у нас отняли» и т.п.

В Старом Городе В. не преминул спуститься в подвал, где висели его кисти картины, — в золоченых рамах и под стеклом. Стекла отразили с трудом узнаваемую, но вполне приемлемую еще фигуру.

В. прислонился к прохладной стене и уставился на свое изображение — на фоне пышной процессии, бредущей через желтую пустыню. Впереди торжественно выступал козел. Шея его была обвязана красной шерстью. Козел не знал, что через пару километров его сбросят в пропасть, — аккуратно и быстро, чтоб не дай бог не напугался. Древний Закон предписывал, чтоб козел перед смертью не мучился. (Тогда были такие законы — понимали толк в жертвах. Козла жалели, но не придумали еще гуманизма.) Старший раввин следил, чтоб на картине все было тип-топ. Пришлось изучать первоисточники и постепенно В. проникся...

...Да, было времечко! — каждую неделю пробегал мимо главной синагоги с картиной подмышкой. Семь из них выставили на всеобщее обозрение — в подвале. Интересно, а как тут с крысами?.. В свое время, малюя на главной улице недорогие портреты прохожих, В. отметил: иерусалимские серые крысы какие-то бурые... Загар, что ли?

В музее было еще много чего: пыльный макет Храма эпохи царя Ирода, витрины с самоделковыми реконструкциями храмовой утвари и венец экспозиции — сорокаведерный медный самовар для ритуального омовения рук (В. всегда сомневался, что этот священный сосуд имел именно такую тульскую форму).

— Жил как человек! — подумал В. Через полтора года хищнической разработки священные сюжеты кончились — почти одновременно с полученным за них вознаграждением. Об авторских отчислениях за тиражирование картин в печати речь не шла. Раввины об этом и не слышали. В Талмуде об «авторских» не было ни слова, и все, чем В. проникся, испарилось. Не пустило, так сказать глубоких корней. «И вот уже бывший комсомолец создает картины о хронографии Храма», — как написал один журналист, бывший угонщик самолета. Ему думалось, что все дело в самолете. Не исключено, что он был прав. «Но ведь человек меняется, невозможно все время угонять самолет, — думал В., — и вот, постепенно, становишься журналистом...»

— Каждый Коэн может купить облачение коэна!

— У меня, еще в Хайфе когда, был один Коэн! Но я не поняла, это фамилия или профессия?

— Коэн, чтоб ты знала, это, по-простому говоря, священник! От этого пошла и фамилия — типа Попенко! Я к ним поднялся, к себе, то есть, на бывшую работу, это еще Институт Храма когда — и спрашиваю: «Чем, мол, торгуете в Храмовом киоске — это что, сувенир такой?» Не понимают! Они считают — форма-таки определяет содержание! Наденет какой-нибудь затурканный облачение священника, взыграют в нем гены, вспомнит он, как его фамилия, и — просветление!

— И правильно! Чего ты взъелся! Люди работают-зарабатывают, не то, что ты...

— Я? Я ничего... Я тоже работаю... подрабатываю. Я просто спросил... Коэнам, говорю, понятно, у них фамилия такая, им и спецодежда. А что делать еврею с фамилией Бовшивер — помнишь Бовшивера? Ему, говорю, что остается?

— А что значит — Бовшивер?

— Бовшивер значит — вшивый!

Что я выиграл — что я проиграл? Да, у меня в Кременчуге была двухкомнатная квартира — я прописался к жене, но Киев, это... Вы же понимаете, я... и во всех отношениях лучше. Пока я снимаю угол, это тридцать рублей.

Эттингер внимательно слушал третью симфонию Брамса. Литвак ему не мешал. Не больше, чем пыхтение Какера или галдеж, долетавший со двора в открытую дверь.

В шкафу он держал большую коллекцию пластинок.

— Не сошлись характерами, — продолжал Литвак, — но они вцепились в эту комнату, как не знаю, что! Ничего! Приехал, устроился. Завод помог с пропиской. Что я проиграл? Да, мне сочувствуют! Хорошие люди везде есть! — И взглянул на Эттингера.

— Да-да! — сказал Эттингер прислушиваясь.

В. сидел на корточках и пытался разглядеть хоть что-нибудь. Отражение в черных стеклах было бесконечно прекрасно — там падал легкий снежок и светил тот самый желтый фонарь. Форточка была приоткрыта. «У доброго человека даже распиздяйство к добру», — подумал В. и прыгнул в яму. Ноги ушли в снег и мусор. В. сел на ломаный ящик. Кирпичи холодили спину сквозь кожаную куртку, купленную в Ришон ле-Ционе, — словно ее и не было вовсе. Когда-то, тысячу лет назад, Витя потерял ключ, и В. легко пролез в форточку и прыгнул вниз — руками на подоконник, кувыркнулся на пол и встал на ноги. Но тогда ставни были открыты. В. попробовал подпрыгнуть, край ямы, как и всегда, был слишком высоко — так что самому не вылезти. Тогда, помедлив минуту, он сунул руку в форточку и нажал на ставень — раздался тихий скрип.

Появился Келлер, красавец-мужчина с выражением великосветской скуки на физиономии парикмахера. Он вежливо, как ему показалось, поздоровался, раскачиваясь на носках шикарных замшевых туфель и приступил к делу. Гольцберг взял у него из рук перстень и повертел в пальцах.

— Пять с половиной каратов, шесть штук! — сказал Келлер.

— Мне думается, — начал Гольцберг, — что ношение бриллиантов есть степень духовного омертвения.

— Пять, — сказал Келлер.

— Ваши караты с трещиной, кто же наденет такое говно? Разве что вы сами...

Пробежала кошка. Жирные голуби взлетели на карниз и стали там недовольно расхаживать, толкая друг друга. В песочнице возились дети. Над ними торчал толстый ствол тополя, обвязанный разномастными бельевыми веревками. Из дверей Фрадкина-Эттингера поплыла финальная часть — *анданте*.

— Хорошо-хорошо! Пусть будет — полторы!

Гольцберг царским жестом уронил перстень в песочницу. Келлер рванулся, стал хватать руками, просеивать, нащупал что-то, поднес было к лицу и тут же бросил.

Гольцберг двинулся на улицу. Келлер догнал его и вцепился в рукав. Он был в ужасе.

— Ну-ну, — ласково сказал Гольцберг, — зачем же так убиваться! — И подал Келлеру перстень. — Я же пошутил!

— Надо что-то покушать... но только не в эту рыгаловку!

В. отпустил стеклянную дверь с обшарпанной надписью. В магазине Гольцберг взял белую булку и баночку варенья. У Эттингера он попросил газету и на ней сервировал себе завтрак: разрезал хлеб пополам, напичкал каждый кусок фиолетовой жижей и снова сложил в одно целое. Ноги он положил на стол, предварительно накрыв его другой газетой, и с удовольствием следил за разговором.

Картина дышала миром: В. сидел на стуле в углу, Гольцберг ел сладкую булку, Какер старательно трудился, Эттингер слушал музыку. И надо всем этим, подобно мухе, тихо жужжала речь Литвака.

— И в этом есть логика! А тогда зачем я учился в училище? Да, взял! Чтобы оправдать свою поездку в Адлер!

Вдруг все изменилось — вернее, не изменилось ничего. Просто крюпочки мыслей перестали попадать в петельки. Это было похоже на кино, когда режиссер, немножечко выебываясь, останавливает кадр и на экране зависает летящий из окна

самоубийца, или вдруг замирает парочка, уходя за горизонт, или табун коней вдруг перестает дрыгать ногами — дескать: «Вот она, жизнь!» — и тому подобное.

— Вот она, жизнь! — подумал В. — Непостижимо! Почему именно муха? Не детские голоса, не птички, не хренов Брамс со своим Шуманом и Кларой Вик, а этот опарыш — почему именно он... необходимый атрибут полного, абсолютного душевного покоя...

— Ходит тут, попрошайничает! Полное ничтожество!

— Чего он хотел? — спросил В.

— Я не разобрал! Он ко всему еще и заикается! Полное отсутствие воли, характера, неспособность элементарно позаботиться о себе, решить простейшие вопросы! — Литвак уже поймал свою ноту и загудел ровно, будто завис над аппетитной кучей.

В. отошел, сел за стол и опустил голову на руки. — Затоптать, как гниду, — думал он. — Дать по уху! — и явственно увидел, как Литвак летит в угол, опрокидывая стулья. — Ах, черт, еще шею сломаю! Надо полегче... а тогда какое удовольствие? Нет, бесполезно — всех не перевешаешь...

— Послушайте! — начал он подозрительно тихо, и Бовшивер насторожился. Голинский привстал... В. сбился, снова сел и не просто уложил голову на руки — лег щекой в столярный клей и накрылся ладонями.

О «порывах холодного ветра» не было и речи. Равно как и о дожде.

Золотые листочки чинно, черенками вверх, перемещались по экрану к нижнему, по всей видимости более престижному его краю...

Это был личный сайт жизнерадостной бухарки. Ее любимым «sezop» оказался «Wotem». Об этом сообщалось красивыми голубыми буквами.

Художник Фрадкин никогда не занимался чепухой — даже в той мере, в какой не занимался ею его ближайший

друг Эттингер, который изредка позволял себе брать в руки кисточку, — до того памятного случая.

Фрадкин любил ходить на Бессарабский рынок, неспешно пробовать на вкус все, что нравилось глазу, ощупывать огурцы и картошку, вежливо торговаться тихим голосом за кило кислой капусты или кусок сала. Он мог бы легко увеличить свои доходы в два — да что там! В десять раз! Вместо этого он набивал две авоськи и шел домой. Дома он любил просматривать газеты.

— Они снова строят БАМ! — кричал он жене на кухню. — Они начали его в тридцать седьмом, а теперь они снова его начали! Фрина, я еду на БАМ!

Еще он любил радио. Не то, чтобы он его слушал, а так, просто, чтобы оно говорило. В мастерской, когда изредка становилось тихо, вдруг доносились неразборчивые звуки. У себя в спальне, в темноте, он дожидался того момента, когда с последним звуком «Интернационала» кончались передачи. Сам «Интернационал» не вызывал у него никаких эмоций. Собственно, и до того было тихо — радиоточка едва сипела. Прислушиваясь к ночному городу, ворочался с боку на бок и, беззвучно хихикнув, спокойно засыпал.

Когда-то у них, как и у всех, висел в доме черный репродуктор, его сменил элегантный ламповый приемник «Балтика», а потом портативная «Спидола» с золотой пластинкой (из лакированной латуни): «Передовику производства Фрадкину М.М. от коллектива завода Укркабель в связи с пятнадцатилетним юбилеем трудовой деятельности. Так держать, Миша!»

Не кажется ли тебе, что тут неправдоподобно мало светлого, радостного, что как-то уж слишком оплевано? Однобоко-пессимистично... Черно...

Так ведь это все автор! Этот В.! Его проблемы...

А положительный персонаж есть! Это ты! Читая, ты проник в ткань событий! Ты согреешь и осветишь их личным своим теплом, внутренним светом — как привык в своем собственном быту! Пропущенное через твою душу, дорогой чита-

тель, это незначительное произведение станет великим! Ведь при мысли о благах земных (и небесных!) ты стыдливо прячешь руки в карманы — совсем как Кучеренко! Ты ведь обрати внимание на эту деталь? Ведь так? Ведь так?

Ткач имел вид удивительно бодрого старика лет шестидесяти. Моложавое лицо его было сморщено, как сушеная груша, — и почти такого же цвета. Он четырнадцать дней не ел и не спал, с тех самых пор, как вышел из тюрьмы, — вернее, из спецбольницы, где отбывал свои два года за хранение, распространение, употребление и т.п.

В больнице его периодически подправляли чем-то легким, а выйдя, он сразу рванул к своим.

И вот, не нуждаясь более в таких пустяках как еда и ночлег, пребывал в мире горнем, пока брэнная, чуть заблеванная оболочка его слонялась по улицам без каких-либо конкретных целей.

— Он тебя не затруднит, — говорил Ярошенко, — пусть перебудет пару-тройку дней. Понимаешь — мой одноклассник, Игорь, ему сейчас трудно...

Ярошенко честно повел его было к себе — но по дороге встретил маму. Она шла из молочной, где взяла литр молока, кефир и очень хороший 9% творог.

— Кто это?

— Мама, это мой... это... это отец моего одноклассника, Игоря Ткача! Помнишь Ткача, мама?

Мама помнила — и очень хорошо.

— Однажды один москвич хотел показать мне красивое ущелье и водопад. Он это... увлекался японской поэзией. Мы заблудились и пошли к ближайшей кошаре, где нам дали по морде. Этот человек верил, что знает дорогу, — его-де туда уже водили.

— А за что?

— Понимаешь, — кабардинцы, хасбаты... К ним приехал брат из Нальчика!

— Правильно! У меня был один азербайджанец... и еще один...

В восьмом классе Ткач стал радовать учительницу химии, а вскоре его знания по этому предмету вышли далеко за рамки школьной программы. Будучи по природе практиком, он постоянно наведывался в магазин «Учтехприбор», где покупал колбы, реторты, пробирки и т.п. Большую часть оборудования домашнего «уголка юного химика» он создал своими руками. Конечно, и школа помогала на первых порах — сама не зная об этом. Вскоре он перерос своих наставников и мог захватить из школьной лаборатории не больше, чем дитя из колыбели.

Гамага лежал на полу. Составили протокол. Щеку и правую руку объели мышцы. Мент писал на подоконнике, где намело узкую полоску снега. Шариковая ручка застывала, и когда он дышал на нее, изо рта вылетала струя пара.

Жизнерадостная бухарка добивалась успеха во всем, за что ни бралась. Хотела учиться музыке — и училась! Захотела стать радиоведущей — и стала! Захотела бэк-вокала — и никто не мог ей запретить, даже Ричи Блекмор. Наоборот! Стал сопровождать — с естественной для него виртуозностью!

Ему оставалось только научиться играть похуже — да и потише.

После занятий пили минеральную воду в кафе для некурящих. Белые пижамы, чем-то напоминавшие ку-клукс-клановские балахоны, лежали в красивых маленьких рюкзачках. Балахоны не стесняли движений при динамической медитации, не давили промежности при статической и давали прочное чувство самоидентификации, т. е. причастности и даже избранности. Балахон учителя украшал машинной вышивки белый лотос.

Говорили об особенностях парковки автомобилей в различных бицирках — в различных погодных условиях — и пришли к единому мнению. Кстати, обсудили и погоду.

Выпили еще по стакану. Стаканы минимизировали, смяв их пальцами, и отправили в специализированный экологический бак. Ярошенко они называли «Dima». Он все больше мрачнел.

— Dima, а как ты полагаешь... — начал было Франц, но не закончил.

— Зачем, собственно, заниматься йогой? — невежливо перебил его Ярошенко.

Франц посмотрел на Йозефа. Возникла дискуссия... Вывод был однозначен.

В минимаркете он взял две бутылки «Баллантайна» — в оригинальной упаковке.

— Ишь, говно серое! Жизнь она продлевает! Если бы они хоть что-нибудь понимали в йоге, давно бы сгорели от водки!

Замок был небольшой — куда меньше Октябрьского дворца пионеров, где Ярошенко бывал на елке. У кого отобрали его пионеры, так и не сумел вспомнить.

...Мать привезла его на такси и запустила в разукрашенный сосновым лапником вестибюль. В дороге он контролировал пальцами пригласительный — открытку с Дедом Морозом. Глянцевый Дед летел сквозь метель в санях, запряженных лихой тройкой рогатых северных оленей. Сзади у него торчала уже полностью снаряженная елочка — вся в разноцветных огнях. Видимо, в санях имелся аккумулятор. Во всяком случае, именно такая мысль приходила в голову смышленному школьнику. Он вступил во дворец в ожидании чуда — и оно сбылось!

Билетерами и гардеробщиками в этот вечер были различные животные. Запомнилась лиса — в пластмассовой маске, с седыми патлами и громадным отвислым брюхом под серым сатиновым халатом. Зато волк был как живой: щетинистый, седоватый, и пахло от него по-волчьи — мокрой собакой и самогоном.

В Красном Зале стояла десятиметровая пихта. Под ней неслись вприсядку чучело настоящего медведя и снегурочка, похожая на манекен из дамского магазина. Она приподняла одну ногу в синем сапоге и, накренившись назад, улыбалась сквозь лохмы алюминиевой фольги.

Еще он вспомнил красный до боли шар, висевший на толстом суку в лохматой зеленой пещере.

Воспоминания вышибли нежданную слезу, и кстати — Кендис Найт как раз закончила что-то петь...

В соседнем зале было жутко. В полной темноте по стенам и потолку монотонно скользили лунные блики. Это была работа специального шара, усыпанного зеркальным боем. Шар вращался под потолком в луче прожектора.

Посетителей подхватывала толпа и несла куда-то вглубь. Наигрывал вальс. Под ногами что-то хрустело, пахло ванилью. В темноте кто-то мазнул его по лицу липкой рукой. Он отшатнулся. Скопище народу кружило по залу вокруг трех высоченных фигур в белом. Фигуры покачивались над толпой, как в страшном сне.

— Веселее, ребята! — скомандовало привидение. — Обходим зал танцем — и в игротеку!

— Это они на ходулях! — сказал рядом детский голос. — От, козлы!

Постепенно глаза привыкали к мельканию. Неподалеку, взявшись за руки, продвигался сквозь темень большой коллектив, его голова уже нащупала выход и уверенно шла к игротеке. Другое сообщество успело обменять входные билеты на «подарки» в непрочных целлофановых обертках и теперь упивалось мятным драже и печеньем «Метеор». Время от времени это сыпалось на пол, причем драже весело подскакивало. Кое-кто пытался подбирать его, но другие, более проворные, топтали ногами.

Некоторые уже двигались вяло и боком. Это были те, кто в силу различных причин задержались в зале подольше.

Ярошенко, как зачарованный, кружил вместе со всеми, не зная, что предпринять.

— Сорок восьмая школа! Попрошу веселее! Еще веселее! Не задерживаемся! — забухало над ним в мегафон. И тут кристаллически ясная мысль осветила его временно затемненное сознание: в этом огромном, набитом людьми доме, никто — ни один человек! — не знал его фамилии, имени и домашнего адреса! Немедленно скрутил он дулю (сладострастно оттянув левой рукой указательный палец) и вытянул вооруженную ею руку в направлении мегафона. Дуля красиво мерцала в темноте, по ней перебежали огоньки, снежинки, звездочки. Непосредственно за сим он (чисто интуитивно) избрал новый, самостоятельный вектор, и не в ритме вальса

двинулся куда глаза глядят. Вдоль стен стояли или сидели неорганизованные одиночки. Ярошенко выбрал неприсоединение к ним. Вернее, и к ним тоже. Он присел на корточки и некоторое время сидел никем не видимый и неконтролируемый. Потом перебрался в угол — там было совсем уютно. Мало того — почти в самом углу он разглядел какую-то дверь!

Ярошенко осторожно попробовал ее — не заперто! С коварной улыбкой он оглядел ничего не подозревающий зал и ушел в дверь. За ней тоже было темно. В самом конце длиннейшего коридора тускло и покойно горела обыкновенная желтая лампочка. В коридоре же было темно. Издалека приглушенно побухивала музыка. На секунду захотелось вернуться в зал. Это был страх другого рода — он нарушил, заступил куда нельзя, мало того — с каждым шагом заступает все дальше, отягчая свою вину... И вот так, мучительными, как во сне, шагами, дотопал до самой площадки. Там начиналась широкая пыльная лестница, зачем-то перегороденная посредине стеной из циклопических каменных глыб! Стена была как надо — с зубцами, бойницами, с коваными железными воротами посредине. На воротах красовалась малопонятная геральдика — что-то вроде орла с гипертрофированным клювом и огромным мечом в когтистой лапе. С одной стороны, впрочем, осталась щель — как раз, чтобы протиснуться внутрь, — он так и сделал. И тут же обнаружил, что все — и стена, и бойницы, и ворота, «были нарисованы на куске старого холста», наклеенного на старую фанеру, а она, в свою очередь, держалась на планках 4х3 см.

На серо-мраморных перилах лежал коробок спичек. Ярошенко взял его в руки — оказалось, неслучайно. Взгляд сразу же зафиксировал громадную кучу окаменелых окурков. Их намело метлой в углубление между псевдостеной и последней ступенькой. Он присел, выбрал один — посвежее, и с трудом поджег его с третьей волшебной попытки. Потом осторожно втянул дым — пока не докурил все до самого фильтра. Его стошнило прямо на ворота. До самого прихода матери он просидел в туалете, где тщетно пытался уничтожить запах путем полоскания и протирания зубов пальцем. Вода была ледяная

и отдавала железом. Он счел вечер во дворце мерзейшим из всего пережитого в его короткой жизни — вплоть до приема в пионеры в сентябре следующего года.

— Вот оно, кредо моего детства! Активное неповиновение путем пассивного сопротивления через неприсоединение, — криво улыбнулся сам себе Ярошенко, глядя на то, как Кендис Найт улыбается микрофону в своей левой руке, совершая в то же время ритмические покачивания вытянутой к потолку правой.

Ткача разместили в детской. Годовалая дочь спала в своей решетчатой кроватке, сын на раскладном кресле-кровати, а Ткач на полу, на желтом матрасике. Первую ночь В. несколько раз вставал и, бесшумно ступая босыми ногами, прикидал ухом к дверям — все было спокойно.

Наутро Ткач попросил халвы. Сбегали в магазин. Съел грамм восемьсот, запивая сладким чаем. Халва его оживила, и он лег спать.

Обстановка в замке сложилась семейная — сцены, как таковой, не было, и фаны периодически сливались со своими кумирами.

Кендис поделилась с Нюсей проблемой: попытка объяснить известной своей культурой московской публике содержание старинной баллады потерпела фиаско. Оказалось — наоборот — Нюся все отлично поняла!

Ричи имел вид пожилого пацана, который так и не успел разгримироваться после школьного спектакля, где играл Атоса. У него были грустные глаза второго гитариста мира — первым он считал Джимми Пейджа. Так и сказал. Вообще, оказался открытым и наивным человеком. После ужина поделился проблемами: Кендис трепала ему нервы. Ярошенко оживился, — он и сам был женат на молодой энергичной женщине.

— Так! — сказала Лена. — Укладывание головы на руки! А жопу поднять — пойти на работу?

— Нету работы... Вся вышла!

— Опять уволили? Правильно! Таких — сраным веником!
— Ты сама не работаешь!
— А деньги — есть!
— Проститутка!
— Сам проститутка и это, как его? Альфон!
— Я альфонс?!
— Ты говно!
— А кто этот, твой?
— Они тоже люди, чтоб ты знал! Он точно такой, как ты!
Говно!

В пространственно-временной ячейке по ул. Шота Руставели №18 Б шли одни только биологические часы. Будильник, расплющенный после лекции Шаи страшным ударом молотка, потерял главную свою способность — тикать.

Не засоряемый человеческой речью воздух медленно оживал. Испарения бойлерной потихоньку оседали на стенах. Климат становился тропическим, поползло по стене мокрое пятно. Над кастрюлей с клеем зависло беловатое облачко. То были тончайшие стеклянистые нити плесени. Оседала пыль. Разбухал от влаги картон. Никем не контролируемый солнечный зайчик совершал свое путешествие.

«Как хорошо в покинутых местах! Покинутых людьми, но не богами», — мог бы заметить поэт — но его не было. Он давно застрелился — и в совершенно другом месте.

Бог же никогда не покидал подвала — он просто не мог этого сделать, даже если бы вдруг захотел, — в силу своей вездесущности. Что, впрочем, противоречило тезису о его всемогуществе. Но подобные противоречия более не висели в воздухе. Там вообще ничего не висело, за исключением мертвой электрической лампочки, неопознаваемой, впрочем, как таковая, ввиду отсутствия в помещении какого-либо сознания, способного к созданию концепции «лампочка».

Ткач решительно воздерживался от разговора о наркотиках, как таковых. Точно как религиозный еврей не будет обсуждать иудаизм в рамках вопроса: «хорошо — плохо». Рассказ Ткача сводился к тому, что какими бы препаратами он ни

пользовался, — естественными или синтезированными — колоссальный опыт позволял ему управлять процессом и попадать в нужное место. Место это характеризовалось наличием лишь двух измерений. Точнее, с длиной и шириной не было никаких проблем. Все дело было в том, что потолок постоянно давил, стремясь воссоединиться с полом. Таким образом, высота помещения являлась величиной, асимптотически стремящейся к нулю. Стоило чуть расслабиться, и становилось совсем херово: стены начинали валиться внутрь и все обращалось в туннель — оставалось только нестись головой вперед с возрастающей скоростью. Туннель же — естественно! — стремительно сужался.

Но обычно все шло нормально. Между полом и потолком обитали некие существа. С описанием их внешности возникли затруднения, но и они были преодолены. Решено было называть их «Плоские». В. дал Ткачу лист писчей и карандаш. Ткач задумался.

В. засуетился — ему не терпелось увидеть...

— Ну, — бодренько произнес он, — в чем дело? Обычно трудности у начинающих вызывает передача на плоскости именно трехмерных объектов!

— Я не начинающий... я уже лет двадцать употребляю... — Ткач отложил карандаш, но этой же ночью создал ряд рисунков. Изображенное вовсе не напоминало чертеж, как можно было того ожидать. Оно вообще ничего не напоминало. Этого, строго говоря, и не требуется от произведения искусства. В смысле же эмоционального воздействия — пусть даже и на одного, отдельно взятого зрителя, все было в полном порядке.

В. ощутил дикую тоску, каковую, впрочем, ощущал и до того, — просто она обрела конкретный вид. Ткач рассказывал с трудом. Такие вещи вообще характерны для передачи сугубо личного опыта. Алкогольные напитки не могли дать сколь угодно приемлемых аналогов, а о конопле В. упоминать постеснялся. В беседе с Мастером он постоянно чувствовал свою ограниченность, даже какую-то ущербность.

Через какую-нибудь неделю Ткач уже выглядел вполне пристойно — хотя и не на свои 35. Он напоминал пожилого актера, который, наконец, подшился и вот-вот получит роль.

— Я слышал — хотя, это конечно звучит вульгарно, что наркотики принимают с целью испытать состояния, недоступные в обычном... состоянии... э-э... — начал В. — А ты говоришь...

— Знаешь, когда все идет нормально, там удивительно тихо, — сказал Ткач.

— То есть как это тихо?

— Ну, как сейчас в этой комнате...

В. огляделся: повсюду в диком беспорядке стояли ящики и раскрытые чемоданы, валялись книги и обувь, какие-то бумаги и документы — и все это вот уже два месяца не рождало ничего, кроме паники.

С ужасом В. заметил вдруг свой школьный этюдик, сбереженный родителями: стакан чая и зеленый огурец на фоне посудного полотенца. Зимнее солнце осветило его краешек. В. сел на ящик.

— Уже ничего не исправить, — думал он. — Билеты, визы... новые хозяева звонят: когда, мол, освободите площадь? Почему книги до сих пор не увязаны? Учебники выкинуть... Господи, сколько барахла! Вон там был шкаф... Что это капает? На кухне, кажется... Лампочка висит... Ее зажгут. Будет вечер...

— Лена, знаешь, я вот сейчас понял...

— Ну да! Самое время!

— Подожди! Послушай... Я... Мы... Мы, может, больше не встретимся!

— Смотри на самолет не опоздай!

— Ты должна это знать!

— Чемоданчик не забудь!

— Знаешь, я тебя... Может, я еще вернусь!

— Туда или сюда?

Ричи стоял рядом. Можно было его потрогать. Он удивительно походил на собственное изображение, висевшее по ул. Курская 10 А, в серебряной рамке — до того, как Забельская-Ярошенко приложила к нему руку.

Бордовое «Вольво» летело к Шварцвальду. Два чувства боролись в нем, подобно двум горным потокам, — Шильде и Фульде, слившимся в одно русло сразу за старинным немецким городком Штуппельдорфом. Одним из них было застарелое чувство глубокого отвращения к самому себе, инспирированное усталыми укорами совести (ее антиалкогольного аспекта) по поводу вчерашнего. Другое бурлило где-то между пищеводом и толстым кишечником и было сложной композицией из тошноты, изжоги и легких позывов к дефекации.

— Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня! — тихонько запел Ярошенко, вписываясь в повороты горной дороги. Над головой, в невидимом небе собирались тучи, навеянные Венской школой, — древнейшие архетипы наказания: родная мама, олицетворявшая (так уж сложилось) отцовский аспект любви, — строгий и требовательный, и Христос-Спаситель, которому в предлагаемой ситуации досталось всепрощающее материнство, — он, впрочем, тоже был недоволен. Из-за его голубых риз выглядывал полковник Чалый:

— От таких — будем избавляться! Уже стоит вопрос! Об отчислении из числа!

Над Чалым покачивался доцент Орлик, сквозь него проглядывали детали пейзажа: горные кручи, вершины елей, водопады и дорожные знаки.

Ярошенко остановил машину, спустился к кустам и опорожнил в них мочевой пузырь. Затем скрутил дулю и воткнул ее в небо. По дуле перебежали огоньки, звездочки и снежинки.

Стало легче. Мироощущение стало как-то глобальней. Небо очистилось.

В нем уверенно расположился Господь Цеваот, он же Мелех а-Олам, он же Руах а-Кодеш, он же Эйн Соф — а он никогда ничего не имел против алкоголя, да и вообще против чего бы то ни было — даже против поголовного истребления в окрестных населенных пунктах представителей избранного им же самим народа. Эту, впрочем, свою последнюю мысль Ярошенко счел убогой рационализацией.

— Все-таки все это как-то уж очень выражено в половом отношении, — рассуждалось ему, — может, лучше называть это — Великое Брахмо, или Вечное Дао... А если уж мужик, то

чем плох Гитчи Маниту — с перьями в голове и трубкой, набитой псилоцибиновыми грибами! Кстати, надо будет завезти хоть один контейнер на дачу, а то хоть криком кричи!

— Покайтесь! Ибо приблизилось царствие небесное! — крикнул он вдогонку группе мускулистых велосипедистов, бешено извивавшихся на тонких дюралевых трубках.

Кончился золотой век. И никто не знает, зачем. И зачем был. Зачем все делали то, что делали, и не делали того, чего не делали. Видно, прав был Лев Николаевич Толстой — не знали, что надо делать.

Зачем, к примеру, Конев хотел отрезать себе яйца, а Шая писал пьесу. Зачем В. создал 144 плаката «Производственные показатели народного хозяйства» и только один автопортрет — в туалете Киевского автовокзала. Почему... но всего не перескажешь.

Одному только Литваку ведомо все — зачем уехал из Кременчуга, зачем окончил училище, и почему во Франкфурте, в 7 часов вечера он стоит на перекрестке Гагенау и Шпилерштрассе — туда приезжает польский ларек.

Бовшивер провернул ключ — он пришел попрощаться. Тайно от всех и от самого себя.

Прошел в зал. Сквозь приоткрытые ставни просачивался тусклый свет. Коснулся стола и отдернул руку — всюду был крысиный помет. Бовшивер замер. Огромная тишина навалилась, сдавила горло, понеслись обрывки воспоминаний... Но вскоре отпустило. Он вновь различил знакомые шумы, побулькивание в трубах, тихое гудение лифта. Почти успокоился. Оставалось лишь уйти — навсегда... И тут тишайшее посапывание резануло слух — на диване кто-то спал. Сердце упало. «Бомжи! Только этого не хватало! — подумал он. — Черт потянул сентиментального идиота! Это ж надо — перед самым отъездом!» — Стараясь не шуметь, двинулся к выходу — и вдруг пошел назад. На столе лежала кепка. Он взял ее и зачем-то понюхал. В ноздри ударил запах невымытого тела, сырости и крысиного помета. Потом, щуря близорукие глаза, склонился над диваном. Голова спящего пахла кепкой.

ЧЕЛОВЕК С ШИРОКО РАССТАВЛЕННЫМИ ЗУБАМИ

Памяти отца

Человек вносит себя в опыт — и способен извлекать из опыта самого себя.

Мераб Мамардашвили

Толстое стекло бьет в лоб, земля разворачивается и встает дыбом. В последнюю минуту, у самого края, там, где на относительно ровное летное поле набегают волны песка, черной закорючкой — человеческая фигурка.

Идет, а зачем — никогда уже не узнаешь, видишь в первый и последний раз, и всего-то на полсекунды.

Но видеть — видел. И запомнил. Потому именно, что на полсекунды и в последний раз.

Некто и его летящая через барханы гигантская тень стали тобой — ведь и о себе знаешь лишь отчасти...

Это особенно ясно, когда в окошке уже одна пустыня.

Сейчас, когда я думаю о нем, вижу едва различимую точку и огромную, совершенно живую тень. Остается лишь верить, что каким-то образом я все же сознаю и разумею, что все это значит...

* * *

Мы собирались на вокзале.

Волнами ходит под высокими сводами немолчный гул. Набегает и откатывается: говор, визг, плач, ругань, хрипатое пение. Одна огромная, на все гигантское здание, мольба. Жалкая, неразборчивая... Кому?

Истертые пальто, ватники, плащи, овчинные тулупы, плисовые кофты. Пеньковые плетеные сумки, связанные перекинутым через сутулое бабье плечо вафельным полотенцем. Детская рука, подымающая с полу надкусанный пирожок с ливером, и спины, — идучие, лежащие, стоячие, сидячие. Пластинами на деревянных широких лавах, на полу, в глубоких, как гроты, нишах подоконников. Колготятся на перроне, валят потоками вверх-вниз по лестницам виадуков, шаркают ногами и плюют на усыпанный сырыми опилками пол, выстраиваются в бесконечные очереди, стоят, едят с газеты, режутся в карты, спят сидя, рассказывают вдруг об утонувшей дочери, пьют водку и бьют друг другу морду. А лица — обращены «туда», где все уже будет лучше, чем здесь и сейчас, — в робкое неверное будущее, куда улетают зеленые поезда.

Льются сквозь пыльные витражи золотые лучи, голуби и воробьи носятся в вышине под самым куполом, садятся на карниз, гадят оттуда вниз, на бабу, жующую белую булку, на милиционера в новой шинели с дурацким портфеликом и авоськой.

Пути — бурые шпалы, сверкучие рельсы, залитый мазутом черный шлак.

Сдвоенная колея пронзает пространство, вагон висит в нем на невидимых магнитных тягах, а Земля, вращаясь, крутит колеса. Страна показывает бесконечное кино о самой себе, и физиономия у нее унылая: она много вытерпела и чувствует, что терпеть еще и терпеть, и терпения хватит.

Поезд гулко потягивается всем своим железным хребтом. Вздрагивает вагон, замирает сердце. Уползает назад перрон. За грязным двойным стеклом чье-то смазанное лицо, раскрытый рот, взвизгивает клочковатая шапка-ушанка, плывет будка с рыжим мужиком, вылетает вдруг мост, зеленые врезенте грузовики, кусок кривой улицы с обрывком трамвая, фонари-рельсы-семафоры, синей чертой улетает фонарь, мельтешит-подпрыгивает забор... Несутся столбы, грохочут колеса, — свист, скрежет, вой!

А потом, ночью, в желтом свете вагона, когда полуоглохший ворочаешься на верхней полке, гул огромного улья, его сладкая грусть и тревога, вавилонская суета — медленно возвращаются, переполняют тебя, сливаются с дорожными шумами и обращаются, наконец, в ровный перестук колес.

Возвращаешься — из откуда?

Смотришь в окно на огородики, на бесконечные сараи и гаражи, на первые кирпичные извивы знакомых улиц, на дольные сады. А вокзал, торжественно замедляясь, вдруг вырастает перед тобой, чтоб наконец остановиться, распахнуться, окутать родным смрадом: прогорклым потом, кислятиной, дешевым одеколоном, чадом буфетов, водочным перегаром и в самом конце, у непомерно низкой двустворчатой двери, пронзительным запахом города.

Кто мы были? Какой церкви прихожане, какой секты, какого бога свидетели? Не экстатические ли псалмы распевали мы среди отъезжающих, провожающих и транзитных пассажиров? Не безумный ли цадик уводил своих хасидов в гремучую эту синагогу? Или новейшей выточкой протопоп — староверами древнейшей на свете веры — хорониться в лесах?

Огромный дедушка Ленин встречал и провожал нас белыми гипсовыми глазами, тянул в пыльное пространство посеревшую многопудовую руку.

По ночам желтый свет фонарей и угольно-черные тени пели о нескончаемом празднике. Подпрыгивая и чирикавая, мы заглядывали с перрона, высматривали среди далеких огней золотой глаз поезда, а руки сами складывались в два невидимых невидимым же воспитателям напряженных кукиша.

Неохотно возвращались назад, но никто в целом свете, даже сам Всемогущий, не мог отнять эти одну-две недельки, — ибо он не имел привычки отбирать, его подарки воистину были неотдарками...

Всевышний-Святой-Крепкий!

Это он лично выбивал колесами бешеную музыку, доводящую до экстаза адептов крошечной свободы, передающих друг другу найденный тут же, в тамбуре, отвратительно горький, раскуренный впервые в жизни «бычок». Это он самый раскачивал вагон и влетал в оттянутые книзу окна глотками оглушительного воздуха, кипятил черный железнодорожный чай в железном «титане», плясал в крошечной его топке, вываливался оттуда пылающим угольком и вонял дымом. Не было никакой нужды в него верить — он был тут же, под рукой.

Не его ли пророчица стаивала в загаженном туннеле, добротным питаюсь? Питали прохожие — медяками. Солдат отломил половинку французской булочки. Вообще говоря, она не попрошайничала. Пускала слюну из полуоткрытого рта. Слюна стекала на ее бесцветное пальтишко. Ростом с ребенка, с меня семилетнего, в сереньком пуховом платке, неопределенного возраста, с белыми глазами. Булочку она уронила. Куснула раз — и все... Кто-то ставил ей под ноги консервную банку — туда и кидали. Кто-то ее приводил и уводил, а кто, ни разу не видел.

Через туннель вход-выход был прямо в город, минуя вокзал. Опаздывая на поезд, мы мчались тут с криком и топотом — пузырящиеся здоровьем, сытые и бесстыжие.

За вокзалом, под мостом-путепроводом до утра горели над рельсами синие фонарики. Там был запах мазута, гудки поездов, одинокое шарканье моих ботинок по гравию, неясные надежды, отважные помыслы. И в классической этой картине проплывал мимо сутулый силуэт, оставляя в черном воздухе прерывистый след: едкую смесь пота, смазки и папиросного дыма.

* * *

Я знаю, что будет на том свете после моей смерти: мимо пройдет цепочка расхристанных сопляков с неумелыми рюк-

заками, я вылезу из канавы, где лежу сейчас, и, обратившись в жирноватого школьника, пристроюсь замыкающим. И в этот момент ссохшийся, обветшавший с годами мир снова обретет тайну.

Грунтовая дорога, просека с квартальными столбиками в деленом на квадраты лесу. (Алё-алё! Мы в квадрате 4–10, вызываю огонь на себя!)

Замечательно было идти по ней к неизведанным далям — заболоченному пруду в урочище Синяки, двум стожкам, огороженным палками от посягательств рябой коровы, к заросшей травой поляне среди сосен.

В детстве жизнь была. Будто в сердцевине огромной матрешки просыпалась вдруг ее маленькая доченька, а там — еще и еще, и сколько ни раскрывай — конца нету. Маленьким новым жизням...

Все ездили куда-то. В электричках, на паровозной тяге, в разболтанных кузовах, в трясучих телегах. На палубах и в трюмах. Блевали в грохоте почтовой авиации, в железном брюхе вертолета, набитом нашими телами и мешками. И потом, проваливаясь ногами в ягель, долго не могли понять: неужели и вправду так тихо, или навсегда уже напихало в уши этой глухоты. Привычное наше детское болботание, веселенькие и бодрые шуточки зависали среди зачахших сосенок и враз издыхали, лишённые привычного питания, — безосновательного оптимизма и кучого опыта, среди серо-зеленой равнины, где жуткая оловянная река уходила к океану с далеким ртутным солнцем над горизонтом.

* * *

Луна взобралась на крышу коровника. Старые громадные тополя шершавыми своими тенями потянулись от шоссе сюда, к молодому лесочку, к тихому костерку и забавным матерчатым домикам, растянутым на палках среди зеленого папоротника, к неясным мечтам и тихому смеху...

«...и тогда из-за скалы появился Человек с Широко Расставленными Зубами. Он прошел меж бесчувственных тел, пнул ногой ближайшего и приподнял за волосы. Раздался едва слышный стон. Человек с Широко Расставленными Зубами улыбнулся. Снял с верблюда мешок, вынул укутанную в зеленый фланелевый чехол большую английскую флягу, склонился над лежащим. Рукавом стер с почернелого лица песок, надавил пальцами на стиснутые челюсти, разжал заскорузлый, на рваную дыру похожий рот, и стал лить туда воду».

Моего отца все считали педагогом. «Детовод» — по-гречески. У него даже был такой сине-белый эмалевый значок — «Відмінник народної освіти». Только он никуда не вел — уводил.

От конкретных задач к совершеннейшим абстракциям.

Он сам бы подивился, как далеко пошли за ним, как верно распознали ноту, которая слышалась ему, как решительно отказались от слов и мыслей в поисках слов и мыслей — иных.

«Поезд, поезд, вези нас на хер, на Полюс!» — по-своему затянули детские дисканты популярную лирическую песню.

Моего отца не одобрили бы ни в одном государстве, но он, опытный государственного всего враг, умело маскировал свое. Его так и не выявили, не разоблачили.

Водил Красных Следопытов по местам боевой славы, тратил государственные средства, а ведомые выросли в...

Человек с Широко Расставленными Зубами! Кумир моего детства! На живейшую нитку схваченный по методу доктора Франкенштейна. Мцыри-образный, с душой Простодушного, с улыбкой Гуинплена.

Алтер-эго моего папаши и правдивейший его портрет.

Блуждание разума и ясность чувств!

Застиранный добела штормовка поверх отглаженного серого костюма и драные советские кеды.

О ком я пишу все это? О нем? О себе? Что оно такое «он», «я»?

Любое произведение, как достоверно известно, есть портрет автора. Это подтвердит вам любой психолог. Тем более — психиатр. Или даже искусствовед.

Таким образом, достоверным описанием кого-либо могут считаться лишь данные, полученные в порядке судебно-медицинского освидетельствования, проводимого в ходе оперативно-следственных мероприятий, да и то произведенного лишь в присутствии понятых.

Понятые, за мной!

Войдите в этот опустошенный дом и подтвердите — здесь жили! Вот шурупчики, на которых висели фото, карнизы, лишенные занавесок, темный след от ковра на выгоревшем линолеуме, полуразобранный шкаф, пустые его полки, зацепившаяся за что-то неопознаваемая пока цветная тряпка — возможно, дамская кофточка, и совершенно чужой воздух. Лишь вашим дыханием тревожимый — не тех, кто тут жил. Пусть и недавно совсем.

Так что, извините. Хотите веритье, а нет — так нет.

* * *

Человек с Широко Расставленными Зубами родился неизвестно от кого в страшном месте — в первый раз в пустыне Кара-Кум, а потом, кажется, на плато Устюрт. Мать его умерла от голода, и одичавшие вконец соплеменники изгнали маленького аутсайдера, сопроводив это бесчеловечное деяние несколькими литературными штампами: «ступай прочь, змееныш!» («сын шакала!») и «лишний рот!»

Но мы, сидевшие у костра, ясно видели раскаленные пески, чудовищное солнце, похожее на копну рыжего сена, и смутного пока сиротку в экзотических лохмотьях, бредущего к безнадежному горизонту.

Отроческие годы его, мыслью рожденного, протекли в полном соответствии с концепциями вышеупомянутого произведения М. Ю. Лермонтова, — как известно, этот поэт был тяжелым социопатом.

(Был ли социопатом мой отец? Выяснению этого вопроса, в частности, посвящено настоящее исследование.)

В отличие от героя М.Ю. Лермонтова, Человек с Широко Расставленными Зубами имел вполне реалистические и не всегда аппетитные черты: проводил время в местах обитания малоизвестного этноса кумли, питаясь отбросами, ящерицами и тушканчиками, — будто успел ознакомиться с содержанием недоступной широкому читателю брошюры *«Выживание в условиях пустыни и полупустыни»*. Воениздат. 1947 г. Из части не выносить! Иногда, впрочем, его поведение резко расходилось с содержанием этой, в высшей степени полезной книжицы, — так, он неоднократно позволял себе игнорировать параграф первый пункта третьего, а именно: «совершенно необходимо всыпать в кружку с водой несколько кристалликов марганцовокислого калия или же влить 2–3 капли спиртовой настойки йода». Дело было в том, что, не имея чего-либо похожего на кружку, Человек с Широко Расставленными Зубами пил непосредственно из лужи. (На этом месте рассказ неизменно прерывался методико-педагогическим отступлением с ярким мнемоническим приемом — упоминанием обстоятельств гибели великого путешественника Пржевальского, как-то раз утолившего жажду прямо из реки.)

Помимо этого, почти физиологического плана, существовал и иной — не я один научился чувствовать пустыню (в моменты, когда социализированные ближние загоняли меня на ее край) не как гибель верную, а наоборот, — как дом родной, стоило только развернуться к ней лицом, — а к ближним, соответственно, спиной.

В эти минуты зубы раздвигаются у меня во рту.

Возможно, чтобы удобнее было сплюнуть через плечо.

Повзрослев и окрепнув на свежем воздухе, Человек с Широко Расставленными Зубами не мог не заняться деятельностью, называемой (в культурной среде) экспроприацией. Но при этом игнорировал структуру общества. Ему был чужд социальный подход к проблеме, его классовая сущность. Он

не замечал, что одни голодают, пока другие купаются в роскоши. Не заботился о бедных. И вот по какой причине: в сравнении с ним любой нищий показался бы богатым. Кроме того, окружающие его тушканчики, шакалы и прочие обитатели «угрюмых барханов» вряд ли поддавались оценке с подобной точки зрения.

Не имея представления о стоимости различных вещей, Человек с Широко Расставленными Зубами интересовался лишь едой да одеждой, — но не обувью: *«от постоянной беготни по камням и раскаленному песку подошвы его ног сделались крепкими, как копыта верблюда»*. Брезговал также тубетейками, тельпеками и тюрбанами, а впоследствии зелеными фуражками и буденовками — *«дикая копна спутанных волос служила ему головным убором»*.

Оружие предпочитал холодное: круглый камень, обернутый поясом халата (у него уже был халат!). Крутанешь поясом и — камешком по кумполу. Популярная штука в разбойничьей среде среднего Востока.

Но уместно ли тут слово «экспроприация»? Ведь изгнав, общество не только освободило изгнанника от собственного морального кодекса, но и не позаботилось предварительно привить ему какие-либо понятия, из которых подобный кодекс он мог бы вывести сам.

Куда важнее другое — возможно ли в полной мере отнести его к Homo Sapiens? Т.е., сохраняя его принадлежность к вышеупомянутому виду, все же вынести его, так сказать, за скобки, исключив в какой-то мере из Человеков Разумных, коим свойственно в первую очередь накапливать лишнее?

Все эти вопросы вряд ли могут быть раскрыты методами дискурсивной логики, т.к. ответы коренятся глубоко в психике, там, где дискурсивность дискурсивной логики становится ее границей, и даже еще глубже — где нет уже никакого дискурса.

Остается прибегнуть к методам художественным, лишь кажущимся непригодными в подобных исследованиях. Пусть они и не дают, да и не могут давать повторяющихся результатов, каковые только и признает наука.

Наш дом был до отказа забит священной атрибутикой: киркообразный ледоруб в прихожей, а в кухне — томагавк с резиновой ручкой (цена 4 р. 50 к.), который я сам доводил до немыслимой остроты напильником и наждачной шкуркой, набор отдающих дымом костра штормовок и брезентовых штанов, неизвестного океана зюйдвестка, бог знает как залетевшая на сушу, а кроме того, настоящий кожаный офицерский планшет, набитый перевернутыми с целью ввести в заблуждение американских шпионов топографическими картами в масштабе 1: 500 000. На этих картах жирная линия шоссе вела не к стратегического значения мыловаренному заводу, а к черту на рога, туда, где синели коротенькие черточки болота да лес зеленый, обозначенный значками в виде елочек и дубовых листиков на ножках-закорючках. Планшет был снабжен прибором по кличке «курвиметр» для измерения искаженных с той же целью пространств.

Курвиметр садился на обочине, расстегивал рваное бурое пальто, снимал разбитые долгой маятой ботинки и, прикинув в больном уме перемеренное измученными ногами расстояние от пункта «А», приговаривал: «Ух ты, курва!». Я его часто видел — пьющим чифирь, вскипяченный с помощью двух бритвенных лезвий, прикрученных проволокой к школьной резинке. Украденная у туристов кружка согревала ему сизые руки. В слезящихся его глазах отражались немыслимые дали, невиданные пейзажи, невозможная жизнь.

В планшете был еще и компас — излюбленный всеми капитанами (да и майорами!) тупой прибор, который всегда показывал почему-то только прямо на север. Именно компас, — никто другой, — вел их к заветной цели! И там, достигнув полюса жизни, они, упав задницей в снег, хватались за седую голову...

В этот замечательный момент цель переставала заслонять горизонт...

Упрямо и тупо невзлюбил я веселенькую красно-черную стрелочку со светящейся в темноте фосфорической треугольной головкой. Она напоминала мне слепо протянутую руку, указующую единственно верный путь. С грустью смотрел я на спортивных ориентировщиков, стремительно перебегающих через лес, — все мимо и мимо, леса не замечая. Не среди дубов да сосен неслись они, не по мокрой траве, — среди ориентиров, уставившись в свои карты-планшетики, обгоняя других таких же белошортых кротов, черными туннелями бегущих за рядами и значками...

Где-нибудь в океане разве что... Да и там какие-нибудь бесштаные, в одну татуировку одетые, без всякого компаса под волокнистым, кокосово-бурым парусом плывут и веслом правят. Путь указуют звезды, птицы, ветры, плывущие по воде сухие листья и прочий сор.

В кабине разве что аэроплана, в сплошной облачности летящего над невидимыми сплошными же льдами, на помощь увязшему славному ледоколу, везущему провиант и газету «Правда» славным полярникам, идущим к...

Мой (у меня он все же есть!) компас указывает лишь назад. В покинутую давным-давно безвозвратную страну, где гнулась спина и ходили ноги. Я гляжу на жестяную облупленной краской беленую шкалу с одной целью — нет, не направить! — лишь соотнести направление несомого ветром воздушного моего шара с воображаемой точкой его полузабытого взлета.

В серванте, рядом с чайным сервизом Балаклавского фарянского завода и дедушкиным ритуальным, чистого серебра, стаканчиком для якобы кидушного вина, покоились: моржовый бивень, зуб кашалота, два костяных рыболовных крючка, наборы разнокалиберных сталактитов, сталагмитов и трилобитов, коллекция агатов, яшм, халцедонов и прочих «полудрагоценных» камней, а на стенах, на шкафах и под шкафами — рога марала, шкура лося, лопарской работы хитрый крючок из рога северного оленя — для чесания спины, драный бубен небогатого шамана, огромный кристалл горного хрусталя — для прозрения Верхнего мира, ржавый

капкан, скелет морского ежа и тропическая бабочка «Морфо Менелай» в стеклянной коробке. Скелет морского ежа и колючая краснобóрская рыба отдавали сушеной воблой. Зато бабочка была немыслимого синего цвета, провоцирующего неконтролируемый приступ восторга.

Человек с Широко Расставленными Зубами принес в дом лишь фотографию: на обтерханном кусочке желтоватого картона уходили к скучному горизонту черно-белые барханы. Их мелкорребристая поверхность живо напоминала жестяную стиральную доску, валявшуюся под ванной. Я достал ее, смахнул пыль, вынес на свет. По оцинкованной ряби доски пошли караваны верблюдов, злой ветер погнал мутно-песчаные волны — предвестники затяжного самума.

Позвякивают чайные ложечки. В комнате сухо и тепло. Все как надо. Чайник на алюминиевой, витой проволоки, подставке. Вазочки с айвовым и вишневым вареньем. Печенье. Пахнет хлебом. В телевизоре танцуют. За окном — окна. Светят мягким персиковым светом. Там, за белыми занавесочками, такие же скромные трудящиеся пьют такой же чай.

Пяток обывателей за столом рассуждают о недоступных ни опыту ни воображению местах: «они же жили в этой «дыре»...

Закрашенная болезненно-красным, Дыра простиралась от Черного до Белого моря, от вторично освобожденной Чехии до киркообразно торчащей в Тихий океан Камчатки. Островками объективной реальности сквозили Сочи и Кисловодск. Все остальное было уже просто глобусом — виртуальным явлением, обратной стороной Луны, куда если кто и вступит, так это (вот-вот!) отважные космонавты, да еще Элем Лазаревич, у которого есть «научная» виза.

Профессор неизвестных наук, давний друг Киры Лейкиной как-то раз за чашкой собственноручно заваренного индийского чая зачем-то сообщил присутствующим: ...имя, видите ли, — один из аспектов самоидентификации. Народам, называемым почему-то примитивными, это известно. «Кум-

ли» означает что-то вроде «песчаники», жители песков. С незапамятных времен кочевали... Заунгузские Кара-Кумы, Копет-даг (и другие дыры)... древнейшие обычаи... Ребенку несколько раз давали новое имя, в связи с... нет, не с биологическим возрастом, — с некоторыми событиями, отмечающими этапы взросления. Это освобождало от первичной зависимости... От кого? Да от тех же. От мамы с папой... в какой-то мере от семьи, рода. И от этих — старейшин... Чуть не сказал — вождей! Хе-хе...

Завершалось все обрядами инициации, в которые входило пребывание в одиночестве в пустыне. Можно ли выжить одному в пустыне? Выжить — да! Теоретически... Жить — нет.

Вообще, эти самые кумли считали, что перемена имени дезориентирует злых духов... Мол, «я — не я и хата не моя» — как говорят хохлы. Что? Примитивные зависимы? Есть нечто? Ну да, а у вас «Гастроном» на углу... И потому — независимость! Но вернемся к. Кому? Народу!

Народ, ясное дело, ушел вперед по своему историко-диалектическому пути, «магическое назначение» имен нынче основательно подзабыто. Вопрос — потеряло ли оно свое воздействие? А в нынешней культуре «злым духам» соответствуют различные «комплексы», «фобии» и т.п.

Первобытная психология — простите, зарпортовался! — современная магия породила немало имен, призванных создать соответствующую самоидентификацию: Вилен, Военмор, Сталина, Диктатура, — и тем обеспечила психиатров дополнительной работой. Кстати, забыл представиться: Элем! — Энгельс-Ленин-Маркс, — чтоб вы знали!

Кира Лейкина служила в киевской обсерватории. Библиотекарем. Наблюдателям звездного неба нравились ее формы, живо напоминающие то, с чем они привыкли иметь дело. Ибо космические объекты — планеты и планетоиды, звезды и т.п., есть по сути не что иное, как гигантские шары.

Элем же Лазаревич, помимо Киры, увлекался еще и этнографией, антропологией, социологией и т.п., и, соответственно, частил в библиотеку.

Астрофизики организовали у себя кружок — типа туристского. Выезжали на природу, подальше от ул. Обсерваторной, разбивали лагерь, делали шашлыки... Они называли это «выезд на затмение».

Где-то там, на полянке, ученые столкнулись с детьми, и Элем сымпровизировал им лекцию о космосе — трогательном единстве звезд и людей...

Трогательны, кстати, имена этих самых кумли: Ящеричка, Газель, Звезда, Верблюжонок ...

Светит над тобой сестра-Звезда, пробегает мимо подружка-Ящеричка. Братья Луна и Солнце сменяют друг друга...

Как-то раз Элем сводил нас в планетарий.

По черному куполу скользили управляемые снизу звезды, наглядно дискредитируя боженьку и его маму, чьи изображения, по нашему мнению, украшали потолок в дореволюционную эпоху. Впрочем, Элем пояснил, что здание вовсе не бывшая церковь, а бывшая мечеть, и там не полагалось ни мамы, ни изображений. А во вселенной мы не одиноки. Это исключено! С другой стороны, совершенно невероятно, чтобы жизнь в глубинах космоса порождала формы, подобные земным. Элем решительно отвергал подобные гипотезы.

А мы почему-то настаивали. Нам хотелось, чтобы с обитателями иных миров можно было бы побазарить. А Элем тут почему-то занервничал и понес на своей научной «фене» нечто малопонятное: что если это и возможно, то «им», как он полагает, говорить с «нами» не о чем, причем в обидном для нас смысле.

А Кира смутно намекала взрослым, что «ему зарезали докторскую». И визу отобрали. За то, что он подписал какое-то письмо...

И кому это он мог писать?

* * *

Легкодоступность информации порождают недоверие. К ее источнику. Никогда мои писания не приобретут по этой

же причине убедительности желтого от хранения в конфетной коробке листочка. Коробка — в рассохшемся буфете, на старой заброшенной даче, где бледная трава проросла сквозь прогнившие половицы. Это вовсе не то что невесомый, мобильного формата экранчик, с которого так легко читать общедоступное все.

О, как не хватает моим воспоминаниям вещественности, документальности!

Кто поверит моим электронным бредням!

Так вот вам! Снабженный водянисто-зелеными разводами бланк убедительно свидетельствует о рождении. И выдан не кем-нибудь: Народным Комиссариатом Внутренних Дел! Что? Видали? Получите документ на руки! А там:

Родился в: август 1929

(Неверно! — родился в декабре 1928 г.)

Место рождения: г. Малин, Житомирской области

(Ошибочка! — лесной кордон, в 35 километрах от указанного пункта.)

Не с целью ли? Утаить? Скрыться от? Ввести в заблуждение? Кого-что? Кому нахрен сдались, скажи на милость, невиданные лесные евреи?

В органах, этих самых, работали самые простые люди. Им тоже было тяжело. Думать, вникать в подробности. Вот и внесен в косо отпечатанный бланк некий штамп некоей бюрократической реальности! Да и как его прописать-то в паспорте, кордон этот самый...

И, к тому же: уж не снегом ли занесло избушку лесника? Дожидались тепла — хилого младенчика в г. Малин на регистрацию свезти. А там то, се, огород, расчистка-обрезка, омолаживание подлеска... Или в августе, как раз, подъехал участковый верхом и первичную справочку выписал, что и правда — вот он, младенец, налицо, — родился...

Но что значат эти незначительные искажения, интересные лишь паспортному отделу, по сравнению с именем! Профессор, сюда! Где вы, Элем Лазаревич?

Кому, как не вам, уразуметь магическую суть! Трагичность ошибки!

Вместо «Человек с Широкого Расставленными Зубами» вlepлено фиолетовыми унылыми чернилами: Ким! — «Коммунистический Интернационал Молодежи».

Бедный лесник! Отступил, наивный, от древних своего народа традиций. Назвал бы Ициком, Шломке, Мойше — да мало ли...

Жена лесника, моя бабушка, называла младшенького Кимеле.

Ким Иосифович. Имя — бредовая аббревиатура, отчество — библейского патриарха. Нескладное столкновение изрядно девальвировавших учений: подслеповатого древнего старца — иудаизма, и мертворожденного сперматозоида мирового коммунизма. Катастрофически затруднена самоидентификация «нового человека». Катастрофы, однако, порождают новые формы. Хочешь не хочешь — а живи какой есть!

Кимеле, то бишь Ким Осипович (так оно легче выговаривалось), уводил отрядик школьников за город, и они (непреренно подложив под задницу пальтишко) садились на землю. Вообще-то детишки прослушивали лекцию об «Устройстве биваков» или «Ориентировании на местности в условиях непогоды», но сперва, в самом начале, он предлагал просто помолчать. И тут шумели сосны или едва слышно шуршала трава.

Категорически пресекались крики, галдеж и пустая беготня по лесу.

Поощрялось бесшумное передвижение, действия осмысленные: ситуации соответствующие.

Рассказывал детям свои баечки. Включал слух, зрение и осязание, а возможно, и хороший вкус. Развивал нюх — на все живое.

Заставлял тяжело работать, а сам сидел ухмыляясь. Значительно поднимая бровь при виде творимых глупостей. Не мешал дождю и ветру проводить воспитательную работу.

Он давал мне только одну спичку! В любом месте, в любую погоду.

Вода стекала с одежды, издыхая, шипела моя спичка, я отчаянно мерз, кашлял в едком дыму зеленой хвои...

Тогда он брался за дело. Вот он! — лезет сквозь кусты! Под густую ель, под нижние лохматые ветви, что-то там обламывает с сухим звонким хрустом, сует под штормовку, задевает головой сук, сине-зеленый водопад рушится ему на плечи... смеется, по-собачьи трясет головой. Сверкает смешной топорик, янтарные щепки летят в почернелый бурьян.

Все по новой! Еще раз! Сам!

Сунь руки под рубаху... Оботри их хорошенько! Так! Теперь бери коробок...

Вот, сейчас... сейчас... Дрогнул сырой воздух — бледная струйка дыма поползла из бурых хвоинок, тепло коснулось щеки, полы штормовки прикрывают крошечный шалашик, скоро можно будет встать с колен и распрямить спину, — пусть тяжелые капли летят прямо в огонь...

Через много лет, когда уже ходил один, без карт, компаса, да и без рюкзака, видел, бывало, как мелькают впереди его ботинки.

Это его голос — не спичка — зажигает мой костер сейчас...

* * *

Ему, видимо, нравилось наблюдать процесс. Обретения свободы? Мелковато как-то звучит тут это великое слово. Оживления, оживания, воскресения!

Ему это было по душе. Душа у него была детская. Так и не повзрослела, не оформилась во что-то определенное. Может, душа и есть лишь детское. А все остальное, определенное, убедительное, что связано с напором наступательным, верное да зрелое, — душа ли?

Потому, возможно, он так и не стал путешественником-одиночкой. Хотя к одиночеству тягостен всегда — в определенном смысле. Со взрослыми группами сходил, может, парутройку раз, на Кавказ, кажется. Желал общаться лишь с лучшими представителями рода человеческого — детьми.

* * *

Вконец одичалый человек может плюнуть в костер. Или погасить его струей мочи. Подходя к незнакомому костру, стоит сперва приглядеться, — как ведут себя вокруг него. Бывает, куда как лучше под покровом темноты, используя рельеф местности, незаметно отползти подальше. Где не отыщут.

У настоящего костра невозможно читать газету — шрифт мелковат, потому-то в походах, особенно дальних, «коллективный пропагандист и агитатор», он же и «коллективный организатор», если и попадаетея по случаю, то идет у неумелых на растопку, а у небрезгливых на подтирку.

Настоящий костер — для того, чтобы готовить пищу, согревать тело. У такого костра немного света и много тепла. К такому тянутся добрые люди. Худые — к полыхающему огнищу. Там шумно-весело, можно даже читать речь по бумажке — видно. И слышно — из репродукторов. А потом — танцы.

У папаши умные, зрячие, памятьливые ноги. Я иду за ним след в след. «Я — как он», — бормочу я.

Больше не спотыкаюсь. Не устаю.

Тропа сворачивается в клубок. Все ее изгибы, подъемы-спуски, все прыжки-переливы, вдохи-выдохи, звон и гудение крови, — все тут.

Ни «кошачьей гибкости», ни ловкости... Ни силы, ни быстроты. Одна точность, ничего лишнего. Так ходят выючные животные.

Тропа во мне. До сих пор. Она все еще разворачивается... Глянешь вперед — и воодушевление! Или тревога. Бормочут, нашептывают ноги. Мои? — или это все еще огромные верблюжьего кости?

Столетние сосны, заросли ежевики и орешника, бузина, волчье лыко... Крапива.

Туда уходил тщедушный ребенок, обладатель врожденного порока сердца и туберкулезных бактерий.

Стеклянные сети, жирные крестовики. Перегретая душенная хвоя. Муравейник. Смолистый ветер. Мелкие лесные бабочки — коричневые и серенькие. Сине-золотые мухи. Безымянная мелочь... Жужжанье и писк.

Рубчатые полукружья, слюдяные крылья. Колючая трехдольная лапа, двойной крючок, круглое тельце.

Стебли-лепестки-листки. Рыльца, мордочки, светлые личики. Зеленый клювик. Бархатистые глазки, пушок, колосок, волосок...

Ползает, летает, скачет, замирает, сворачивается. Жигает соком. Щипает колючими серпиками, щекочет, зудит, кусается, колет, жалит.

Чернильно-бузинное, малиново-сладкое, щавельно-кислое. Едко-вонючее.

Поганки. Сыроежки. Стая ворон. Дохлая мышь. Совиное перо. Коровья кость. Лягушка. Головастики. Жидкая грязь. Следы человечьи... Медная гильза. Черные муравьи. Желудь без шляпки.

В лесу было хорошо. Никто не торопил. Уходил туда, когда уставал с суетливыми сестрами и кипучим здоровяком-братом.

Там рассказывал истории обо всем, что видел, — тому, что видел, тому, кто слушал, — деревьям и кустам.

Немногие еще слова и названия складывались восхитительным отражением дня и мерцали где-то в глубине памяти, скрытые до поры, — чтобы когда-нибудь обратиться в речь.

И потом, в нищем еврейском местечке, среди сопливых драчунов и чахлах дразнил, защищался лишь словами... И подчинил их, оборванных и некормленных, заставил слушать свои истории.

Там, в Малине, он пытался вырасти. Доктор Докторович, потомственный спаситель, взглянул и сказал: «Ребенка надо хорошо кормить!» — как раз кончился довоенный голод.

В послевоенный голод авторитетная медкомиссия сообщила восемнадцатилетнему сутульцу: «Вам бы побольше лежать, переутомляться — ни в коем случае!»

Всю жизнь он следовал этому совету. В походах следил за собой, чтоб не переутомиться: на привалах, сняв с плеч тридцатипятикилограммовый рюкзак, сейчас же садился, вытягивал ноги и старался глубоко дышать, норовил и лежать — на траве, на песке, на снегу.

Носил в кармане валидол и нитроглицерин. Осторожней ступал на сломанную в юности ногу, на севере умеренней потреблял спирт, — памятуя о болезни почек.

Бессильной оказалась медицина перед простейшим желанием — жить! Ходить куда глаза глядят!

Не это ли желание — быть, заставляло выдумывать, рассказывать? Чтобы еще раз быть?

Откуда бы ни взялся Человек с Широко Расставленными Зубами, он постепенно стал (или всегда был?) им.

* * *

В послевоенные годы донашивали довоенное. Высшим шиком была шинель. В тот нищенский период и заложились некие понятия и привычки.

Времена прошли, но осталась тайна!

Почему высокий, изящный человек с располагающим выражением интеллигентного лица, с легкой и уверенной походкой, в прекрасном костюме, именно при первом взгляде на него вызывал у окружающих чувство неуверенности? И чув-

ство тем более сильное, чем более социализирован был сей окружающий, чем выше успел он взобраться по ступенькам общественной лестницы. При более тесном общении чувство это обычно исчезало — и совершенно зря!

Руководители различных рангов, да и чиновники вообще, рано или поздно горько сетовали, что не придали значения первому своему впечатлению.

Человек оказывался неуправляемым, ни к кому не при-
мыкаемым, и вообще «не нашим».

И тогда становилось очевидно, что: галстук развязно ослаблен, пиджак застегнут почему-то не на среднюю, а на нижнюю пуговицу, и потому его борта вызывающе выпячены вперед, что развязность галстука дополняется свободной до развязности походкой, словно «не в кабинете, а в лесу, или где»...

Кимеле в свое время окончил педагогический институт. У него там были хорошие учителя. Недобитая профессура. Это были приличные люди, умевшие говорить и писать без ошибок. Владевшие языками настоящим образом — кто русским, кто украинским. Венгерским, английским, немецким. Древне- и новогреческим. Не то, что вытеснившая их талантливая молодежь. Косноязычными доносами. Криками «позор!» и «ганьба!», дружным возмущенным топотом ногами по паркетному полу актового зала с последующим голосованием комсомольскими билетами.

Он попытался стать учителем истории, но слишком хорошо выучил предмет. Слишком поднаторел в искусстве вырезать безопасной бритвой листы глянцеви́то-цветистой бумаги из подарочного альбома и, тщательно изорвав, спускать в унитаз клочки бывших вождей, менять на полочке новые учебники на новейшие, где об утопленных уже не было ни слова.

Кругом простиралась агрессивно-навязчивая реальность. Которая была нереальность. Никак не сходились концы с концами. Какая-то муть застила глаза. Типа детского невроза.

Обозримое имело форму дырки, проделанной пальцем в траченном молью вишнево-плюшевом занавесе, — с обтоп-

танной золотой бахромой понизу и золотой же надписью: «Учиться, учиться и учиться!» Занавес тот являлся настоящим шедевром чернейшей магии — сотканный из отсутствия вещей и людей, был он потому неразрушим и непроницаем. Нельзя было, к примеру, поступить с ним так, как поступил завхоз с нашим старым школьным занавесом: сперва списал, а потом, на задах, у горелого мусоросборника, сложил в кучу с ломаными партами, рваными книгами и атласами, мятым глобусом и т.п., плеснул на них керосином, и — повалил черный дым.

Корсунь-Шевченковская операция вовсе не окончилась в 1943 году — я сам принимал в ней участие. Году в 1962-м. Четыреста учащихся киевских школ были вывезены в район исторических боевых действий и прошли славной дорогой отцов и дедов. Кстати, уже заасфальтированной.

Как сейчас помню! Наша колонна движется в направлении Таращи, оставленные транспортные средства значительно отстают, мы идем форсированным маршем под нарастающий рев установленного на крыше голубой «Волги» мощного репродуктора: «Под руководством генералов хррр... Коневаватутина... прррорвали... с боем взяли... уничтожив до шестидесяти тысяч... солдат и офицеров противника... самолетов и танков!»

Студит сырой весенний ветерок, а спина уже взмокла. «Из колонны никто не выходит!» На пятом километре становится очевидно, что у меня стерты ноги, на седьмом делаю вид, что завязываю шнурки, — что дает возможность минутного отдыха (самовольный выход из строя!). Коневы-Ватутины что-то напутали в графике движения (четыреста детей!), привала все нет, — но на войне еще не то бывает!

Разнокалиберные рюкзачки, напиханные домашней снедью и лишними вещами горбатятся на спинах. Круглые, рыжего искусственного меха «летчицкие» шапочки-шлемы, вязаные цветные шарфики, кожистые плосковерхие ушанки с туго завязанными под подбородком «ушами». Переступают по обочине шоссе ноженки в школьных ботинках. Мы хорошо уже уразумели, чьи мы дети и внуки, и никто не жалуется. Ви-

димо, поэтому самые несознательные начинают падать. Но, естественно, тут же встают. Такие штуки они уже не раз видели в кино — упавшие от усталости солдаты непременно подымаются и спотыкаясь, все идут и идут — до самого конца фильма, где надо еще пробежать сквозь Бранденбургские ворота до самого Рейхстага.

В последнюю минуту подходят наши. И отбирают у обесилевших рюкзаки, что осознается как потеря оружия и боеприпасов и тяжким пятном ложится на совесть. Стыдно было смотреть в глаза боевым товарищам!

Зато запомнилась хатка поэта-демократа в «селі Моринці», которую нам заодно показали...

Когда все уже было позади, мы, наевшись в автобусе до отвала, запели песни: *там, где пехота не пройдет, пропеллер, громче песню пой, я по свету немало хаживал — похоронен был дважды заживо... и т.д.*

Как же раскачивало автобус, как же мы пели! Сколько души мы вкладывали в каждый грозный взлет, в трагическое падение мелодии, в ее уверенную поступь и лирическое мурлыканье. В общем, пели пропеллером, и — до чего интересная штука: хоронят тебя заживо, а ты — вот он, я! — вылезает из общей могилы и — очередями по врагу (там, на могильном дне нашелся ихний же шмайсер — уронили, должно быть, впопыхах). И так несколько раз. Да мало ли еще что. И вьется, вьется перед глазами дорога отцов и дедов, отличная вещь, если вдуматься: ты идешь и идешь, по полям и дорогам, тихо песню поешь, про березки да клены, про задумчивый сад, про родимую ниву, а сверху самолет-кукурузник У-2 сбрасывает тебе тушёнку, макароны по-флотски, компот...

И никаких домашних заданий. Учит сама жизнь. Бои-походы, марш-броски. На перевал Уклин в родной турлагерь. Или еще лучше — на Кара-Даг, что на южном берегу Черного моря. То есть на северном, если вдуматься. Если Крыма южный берег...

Одна беда — кругом учителя. Охотно, с увлечением передают свой уникальный, свой драгоценный опыт. Так он и на-

зывался — передовой опыт. Общедоступный при помощи радио и недавно возникшего из черноты черно-белого экрана, желто-бумажных газет и обернутых в них же учебников. Сталевары и кукурузоводы, ядерщики и стропальщики, старые большевики, метростроевцы, партизаны, бойцы невидимого фронта... Различного возраста и полов. Так непохожие друг на друга. Басом ли, тенором, хрипатым ли контральто — но с одной и той же интонацией. Она-то и являлась непреходящей, видимо, ценностью, именно вот это и было их коллективным открытием, именно вот это самое они и стремились передать...

Интонация эта диалектически менялась «в связи с». Грозно зарокотав в плюгавой радиоточке, отзывалась в очереди за молоком. Хмурила брови продавцам-покупателям. И наоборот, торжественно взвившись в надзвездные выси, запускала туда искусственный спутник. И очередь, воспрянув новой надеждой, улыбалась, сияла глазами, вместе с беззаветно преданными подопытными на борту: Белкой и Стрелкой. Я помню их! Чудные собачки, добрые, веселые, с высунутыми розовыми язычками, летели в чистейшем вакууме, в торричеллиевой пустоте, — а «Земля» давала им «добро» на отважный подвиг.

Полковник Гуцин со своим мудро-хитрым прищуром, со своей удивительно расчерченной топографией бытия!

Отложивши азимут на карте судьбы.

Дурацкое направление, избранное самоуверенным невежеством. Извивы полуослепшей души, не за страх — за совесть устремленной к выживанию в условиях самопожирющего общества.

Которая совесть и есть изощреннейший, страхом намагниченный, наиточнейший компас.

Ах, полковник, заморочил тебя твой компас, обдурила перерванная карта, нет там никакого пункта — ни населенного, ни необитаемого, ни водонапорной башни, ни N-ской железнодорожной станции, ни моста, ни креста, — черная дыра не-объективной нереальности.

И не смотри, как солдат на вошь, на моего сугубо штатского отца, не на ту пуговицу застегнутого...

Полковник Гушин, преподаватель топографического техникума, мастер ориентирования по жизни, эксперт идеологической картографии.

Наивно-горькое заблуждение подростковой души Человека с Широко Расставленными Зубами:

— Это специалист союзного уровня! Не нам чета! Автор книг! Учебников!

Вот так (или почти так) кричал Человек на сотрудников:

— Не желаю слышать сплетен! Не морочьте мне голову! Завидуют, видимо... невежды и бездельники! Он будет отличным заводделом! Усилит коллектив! Будет писать методические пособия!

И специалист стал писать — доносы...

К делу этому приоохотился издавна. Сперва неумело еще, в техникуме своем топографическом, пока учился. Зато, когда уж преподавал там, по увольнении из рядов СА, то опыт передовой накопив и творчески переосмыслив, прослыл настоящим мастером.

И ни в куда не убежать от бумаги: ни в тайгу, ни в тундру, ни в Кара-, ни в Кызыл-кумы.

Другое дело: забыл. Забыл — убежал. Забыл о. Забил на. Кругом — лес. Или те же пески...

И все же научил! Ценнейшему общественному качеству — личному недоверию.

Учитель же географии выражался так: «В этом отдаленнейшем районе земного шара». Отмеряя, очевидно, от классной доски.

— Самая большая гора — Эверест! Высочайшая точка земной поверхности. 8848 метров! Эверест, Эверест... Некий полковник такой был. Английский... Руководил ихней геодезической службой, что ли...

Со стены свисала на клеенку клееная карта мира — два голубых с желто-бурыми материками полукопия. А на другой стенке висел обведенный жирной красной чертой СССР. Под ним, на столах, разместились экспонаты: молью битое чучело какой-то птицы, возможно — сойки, кусок антрацита размером с голову пятиклассника, крашенный гуашью картонный макет нефтяной вышки и т.п.

Взял, да и сказал бы: «В этом отдаленнейшем районе глобуса». Который стоял тут же. Кто-то как-то уронил его, и теперь, в районе Народного Китая, темнела вмятина. Чудовищная катастрофа обрушилась на братский Китай. Тибетское нагорье вывернулось наизнанку. Реки Янцзы и Хуанхэ потекли вспять, вскипели, столкнувшись с выпучившимися из-под земли потоками магмы, и теперь, в самом центре бывшей Поднебесной, бедные китайцы варились на пару, наподобие излюбленных своих пельменей, этого экзотического лакомства, позаимствованного у них народами Монголии и Восточной Сибири и доступного теперь у нас любой трудовой семье по цене 55 копеек за пачку.

На пространстве, обведенном жирной красной чертой, слышался бой палочками в измазанные чернилами барабаны.

Голоного стояли в шортах.

Взвивался ответственный детский голос: «На флаг вызывается турист Муха, второй отряд экологов!»

Муха подымает флаг. На лице его дурацкое возбуждение. Что-то заедает. Видимо, бечевка соскочила и застряла под катушкой блока. Муха дергает, бечевка рвется, флаг подбитой птицей кувыркается на газон. Муха в панике. Инструктор 1-го отряда Николай Филимонович Петруня подбегает на мощных русоволосых ногах и выхватывает красную тряпку из желтого кустика «*antirrhinum*», чудом не засохшего среди чудовищных репьяхов «*Arctium edule* Veger», и, почесывая наколотую лодыжку, передает спасенную реликвию начальнику лагеря, тов. Пилипей. Е.А. Пилипей понятия не имеет, что делать с флагом. Он передает его своему соседу, ст. инструктору туризма Лернеру, а сам, деловито хмураясь, отдает срочные распоряжения. Муха возвращается в строй. Петруня

осматривает мачту, тянет бечевку и разводит руками. Наконец, Лернер выходит вперед и подымает флаг кверху, правая рука мачтой вверх — левая оттягивает. Флаг вяло трепыхается. Лернер лыбится белыми зубами. Юные туристы переминаются с ноги на ногу и в ожидании завтрака с гадливостью следят за дальнейшим ходом линейки.

* * *

Человек с Широко Расставленными Зубами сживал, обыкновенно, на скале: *«Светало. Медленно всплывали из темноты очертания песчаных холмов».*

Или наоборот: *«Солнце уже садилось, густели тени в долине, виднелись лишь вершины окрестных барханов, а когда стемнело, послышался вой шакалов...»*

А понимал ли он вообще — что такое время? Имеющее такую неоспоримую ценность для нас?

Его ни разу в жизни не вызывали «на флаг». Не стаивал он и у доски, бессильный пересказать своими словами раздел о полезных ископаемых Каракумов, — а там полно нефти-газа! Не держал «равнение», не хаживал «в ногу».

Хотелось бы (пусть сейчас, а не тогда, в беспомощном детстве) уяснить себе: а какие, собственно, жизненные устремления, какие цели, имел Человек с...? Идеалы? Принципы? И тут вновь встает все тот же имевший уже место вопрос: можно ли считать его человеком? Причислить, так сказать, в полной мере к нам? С вами? Раз его не волновали ни в какой мере прогрессивные социальные процессы, долженствующие воплотить наконец стародавние чаяния народов о справедливом устройстве всего?

Черт знает, как это у отца моего получалось: с дрожью в голосе учил меня о том, что величайшим грехом является равнодушие, а сам сочинял асоциального отщепенца. Или, правильнее сказать — социального? Если сказать: отщепенца.

В кишкообразных коридорах коммунальной квартиры, где над лабиринтами сохнувшего белья парил велосипед, стал появляться красивый человек. Невысокий, сухой, весь будто на пружинах, он легко лавировал в густых потемках меж пузатым Бабой Борей в темно-синей угрюмой пижаме и седой бабой Груней, с полной котлет сковородой в костлявых руках. Человек этот сверкал льдистыми серыми глазами, освещал потемки белозубой улыбкой, был безукоризненно вежлив и хронически пьян. Кроме того, он был чемпионом СССР. Открыв рот, мы с приятелями рассматривали альбомчик — четверорукий паучок лезет по отвесной скальной стене, висит на уступе, зацепившись двумя пальцами, прыгает через ледовую, бездонную, по всей видимости, трещину...

Я был уверен, что, проделывая все эти штуки, он улыбается все той же счастливой и чуть безумной улыбкой, потому что в те, юные его годы, просто не видывал его без этой самой улыбки. Не то что потом...

Они садились за круглый, покрытый черной, с золотыми драконами, китайской скатертью стол, разливали в два граненых стакана поллитровку «Московской» и моментально выпивали — в качестве аперитива. Затем ели борщ...

Человека звали «Дядя Валя», и это смешило меня, так как в соседней комнате жила тетя Валя, бессловесная тощая наша соседка.

Дядя Валя страдал двумя болезнями: запущенным с детства заиканием и нарождающимся алкоголизмом. Моего отца он называл «К-к-к-кимуля».

Дядя Валя с Кимулей как-то раз сводили меня в кинотеатр «Киев» и вместо «Ильи Муромца» показали там четырех низеньких узкоглазых и мускулистых человечков, поднявшихся, оказывается, на Джомолунгму. (А не на «Эверест», как именовали великую гору империалисты!)

Человечки по очереди лопотали по-своему, беспрерывно улыбались в микрофон. Кто-то что-то переводил... Все стоя аплодировали нерушимой дружбе с братским китайским народом.

Я лично понял одно — главный китаец, скинув ботинки, влез на какую-то последнюю «ну вот такую маленькую стенку», а иначе никак не лезлось. Это стоило ему пальцев ног, их пришлось ампутировать... Мне было жаль маленького китайца, его мужественных отороженных пальцев, но все кругом лишь улыбались и били в ладоши.

Дядя Валя тоже улыбался — в буфете, с бесконечными друзьями. В конце концов его пришлось там оставить на попечении какого-то гориллы. Горилла был в синих тренировочных штанах и в пиджаке, из гигантских карманов торчали горлышки поллитровок. Седые его волосы стояли дыбом...

Альбомчик сделал свое дело. В квартале старой застройки, в самом нашем дворе обнаружилось громадное количество стен, стенок и стеночек. Цокольные этажи были в рустике — удобная и коварная лесенка! — слишком легко набиралась обморочная высота.

Дома сходились углами, к ним примыкали контрфорсы, тянулись разнообразнейшие трубы и провода, кругом торчали костыли, болты и неизвестного назначения крюки. В двадцатом номере громоздились настоящие, еще с войны, развалины. Мы разделили стены по категориям сложности, принимали друг у друга «экзамены». Пальцы с обломанными ногтями, раскрашенные зеленкой и йодом... Каждая победа окрыляла, любой мелкокостный сопляк приобретал «вес» в глазах «пацанов» — если мог забраться повыше. Лютый ужас навела клеткообразная пожарная лестница из проржавелых п-образных прутьев, но по ней можно было влезть на самую крытую гремучим железом вершину!

Мы изготовляли «скальные крючья» и «айсбайли» из гвоздей и металлолома, а однажды сперли у строителей так похожую на родной советский ледоруб неподъемную кирку...

Полутемные провалы дворов, ущельеобразные переходы, пещеры подъездов, доломиты и Альпы: Швейцарские и эти, как их, которые в Италии... Бурый закопченный кирпич. А сверху — синее небо и белые облака.

А Дядя Валя с Кимулей обедали на третьем этаже, ничего не зная, не ведая...

Мы же рассуждали о ледниках, моренах и бергшрудтах. Выпрошенный у Дяди Вали альбомчик выносился во двор. Никому не позволено было лапать его — я сам переворачивал страницы!

Была там одна, худоногая. Бегала по двору в застиранных дырявых панталонах — их у нее было две пары — синие поновее и старенькие бледно-голубые.

Сейчас она как раз была в бледненьких... в дыры свети-ли разные бледненькие же местечки, но никто не смеялся.

— Ирка, лезь! Открой глаза! Лезь, дура!

На крики побежали взрослые, перепуганный полный мужчина перегнулся через парапет, потянул наверх — безуспешно!

— Ирка! Пускай руки! Отцепись же, дура! — кричали снизу.

Наконец Ирку втащили и понесли домой...

Прибежала её картавая мать, грозилась всех «газодгать», «упечь», «сдать» и «в колонию».

Ирка продолжала лазить — назло матери.

Пик отчаянья, когда судорожно сжатые пальцы вот-вот разожмутся, вот что заставляет возвращаться! Настоящий путь не подъем, не достижение, — лишь бесконечное возвращение. Только это стало понятно через много лет.

Бледнела как смерть, подходила к стенке и, вытянув шею, некоторое время смотрела куда-то в сторону, а потом истерическими движениями неслась вверх. Иногда не успевала — оцепеневала вдруг, закатив глаза и раскрыв большой бледный рот...

Немытую, с цыпками на руках, драную и нищую, ее не очень-то жаловали партнерши по классическим играм «в дочку-матери» и «стакан-лимон выйди вон!».

Среди нас она себя чувствовала (и была!) равной.

Впоследствии мужчины ценили в ней это замирание на самом пике...

Потом уже я как-то встретил ее, пятнадцатилетнюю, ослепительно рыжую, шикарно одетую, — в компании жирнопалых тугозагравчатых типов, плохо выбритых мерзавцев с набитыми золотом пастями.

По своему обыкновению она была бледна, как смерть. Мне улыбнулся уголок огромного ало-накрашенного рта.

Она, казалось, лезла на какую-то ей одной видимую стену...

Возвращаешься к неизбежному — к себе самому. И только тогда, когда идти больше некуда. Все исчерпано, а пальцы вот-вот...

* * *

Ихнее поколение боролось с эгоизмом. Со своим собственным и вообще. Им нельзя было любить себя. Любить необходимо было партию, ее ленинский центральный комитет. У многих так и не получилось. Оставалось любить любимое дело, жену...

Их детям тоже было тяжело: надо было к кому-то примыкать. Иначе — никак. Ни по улице пройти, ни в футболчик побацать.

«Ты за кого?» — спрашивали меня во дворе. — «За нас или за Вовика-бздуна?» И этот же по сути вопрос, в то самое время, решал председатель КГБ СССР генерал-полковник Семичастный: «За Хруща или за Лёню Брежнева?»

Все на свете было «они» и «мы». «Они» жили за океаном и у них были «их нравы» Мы же строили светлое будущее, а они нам мешали.

«Они» жили в соседнем дворе, за подпорной стеной, высокой с нашей и низенькой с их стороны, и они кидали к нам говно в бумажках. У них там был сквер, где гадили все: собаки, кошки, дошкольники и пьяные. Загребали вырванными из тетрадей страницами — газета слабовата была для такого дела — и ляп! А потом еще и ржали над нами с высоты: Карась и Шнейдер.

А те, за океаном, говорят, имели каждый по машине. Но тоже кидали говно: при помощи глушимых специальными радиоглушилками вражеских голосов типа «Свобода». Тайно подслушиваемым в наглухо запертых комнатах встревоженными людьми в пижамах и домашних халатиках. «Зачем тебе это надо?» — спрашивал халатик. — «Молчи!» — с мукой отвечала пижама. И задумывалась об эгоизме...

У каждого по машине... А у нас — один Юра Гуральник, врач-психиатр со второго этажа. Они, эти Гуральники, тоже задаются, наверное. Шутка сказать — новый «москвич», по инвалидной разнарядке! А Гольцберга-папашу посадили за любимое дело — он что-то брал на работе, а жена осталась одна с дитем, и... короче, «нам» во как трудно! Не то, что «им»!

Я, лично, примыкал. То к Гуральнику — он был моим двоюродным братом, то к Гольцбергу — он тоже был «братан». «Они» — Гольцберг с Гуральником, братались между собой и давали мне подсрачники — кто сильнее.

«Мы» трое были против тех, которые из четырнадцатого номера, и бросали в «нас» говно.

Но кто же этот, как его, «игоист?» — думал я. Тот, кто любит себя! — кричало все вокруг. Люби все остальное — не запаadlo! А то непременно предашь. Если не родную роту, то родную школу, Гуральника с Гольцбергом, или еще что...

Люби «мы», а себя не!

Где же оно, это самое «я», которое «мы»?

Давид Ливингстон искал истоки Нила, Стенли искал Ливингстона. Оба были изгоями и наслаждались обществом друг друга в местах, свободных от соотечественников.

Нансен и Йохансен ели белых медведей. Заодно Нансен изобрел «нансеновский паспорт».

Амундсен и Нобиле вместе летали на дирижабле, и Амундсен сердился на Нобиле. В книжке своей отозвался о генерале без восторга. Потом полетел спасать. Не долетел. До сих пор где-то во льду. А Нобиле спасся!

Лесли и Крин привязывали Эванса к саням — Эванс не желал спастись себя. Хотел спасти Лесли и Криана. Требовал бросить его на леднике.

Мальгрэн ложился в свою ледяную могилу, а Мариано и Цаппи брели к берегам Шпицбергена. Их спасли. Цаппи был в теплой одежде Мальгрена и выглядел неплохо. Невеста ждала Мальгрена.

У Семенова-Тян-Шанского были два яка: Тянь и Шань. Пржевальский проживал в пустыне Гоби, его любимой едой были черные сухари. Он их так делал: шел на угол, в хлебный, закупал десять буханок «Бородинского», резал на ломти и засушивал в духовке. Такие сухари не гнулись и не ломались. Но разогретые на углях мягчали. Он их жевал. Прожевальский-переживальский. Переживал много... За Семенова-Тян-Шанского — как он там, на Тянь-Шане, со своими яками...

Свен Гедин носил воду в сапогах — другой тары не было. Его последний верблюд сдох от жажды, а баран сдох еще раньше, последней сдохла курица, а он попытался выпить верблюжьей мочи — это когда еще верблюд не сдох. Но потом отпоил из сапога своего кореша, который тоже чуть было не того, и они вместе вышли из песков.

Киплинг начинал в газете «Пионер», а потом написал свой знаменитый роман «Ким» — про индийского мальчика-сироту, который сперва попрошайничал на улицах, но потом сделал крупную ошибку в оценке британского империализма. Роман кончился замечательными словами: «Справедливо Колесо! Впереди у нас Освобождение. Пойдём!»

Миклухо-Маклай, при виде людоедов, тут же ложился спать, и они не знали, что с ним делать. Стояли и ждали, пока выпится... Миклуху выгнали из университета, он расстроился и уехал на Мадейру, а потом придумал Папуасский Союз, чтобы показать белым, что папуасы тоже люди.

Сидор Артемьевич Ковпак губил генерала Наумова — никак не могли разобраться, кто за кого. Ну и Ковпак его — ветхозаветным приемом, как царь Давид генерала Урию. Но не вышло. Пока немцы косили прикрытие, Наумов успешно отступил. Оба получили «Героя Советского Союза».

Красные, белые, черные и желтые хотели счастья, мира и свободы. Они гонялись друг за другом, подстерегали и убивали. Человек с Широко Расставленными Зубами смотрел на них своими ящеричными, волчьими, верблюжьими глазами.

* * *

В бедной ржавчине облаков, в черно-синем небе, над крышей коровника летели слова:

«...пески, черный дым, верблюд волочит за собой труп. Руки связаны, длинная веревка перекинута через верблюжью шею. Труп открывает глаза и зовет верблюда. Верблюд останавливается, оглядывается, смотрит в глаза человеку, тот снова теряет сознание... Мудрый верблюд идет к людям».

Люди представлены стариком-караванщиком.

«Подобрал его, раненого, подыхающего от голода и жажды». (Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас!)

«Я научу тебя всему, что знаю». Разумеется, старик знал актуальнейшие вещи. Занятия с учеником проводил по темам: «ориентирование по звездам», «устройство бивака в песках», «уход за вьючными животными», «ядовитые и опасные обитатели», «прочее».

Возникла и полемика — ученик настаивал на съедобности целого ряда «опасных обитателей».

В конце концов приступили к работе: *«Стал водить караваны... Из Пенджикента в Бухару, из Хивы в Ашхабад... и т.д. По-прежнему спал в песке, покрывшись рваным халатом, пил из луж, к костру не подсаживался — сидел чуть в стороне и молча слушал разговоры... Слушая, по-прежнему уважал шакалов — независимых бродяг, мудрецов песка. А болтунов-караванщиков презирал».*

Ну, а когда в пески пришла революция, само собой проявил политическую слепоту. Даже равнодушие. Водил всех

подряд. Хороших и плохих. И красных, и белых, и всяких. Мюхердаров, амлекдаров, мулл, хакимов, рахимов и ишанов. Басмачей Джунаид-хана, Особый автоотряд ВЧК им. Я.М. Свердлова. Кто тут хороший, решать не мне и не здесь.

А на чьей стороне были бы Ваши симпатии, дорогой читатель: Николая Кровавого, председателя ВЦИК или эмира Бухарского? Если бы Вы в настоящий момент не читали с помощью компактного устройства, выбранного Вами с учетом современных тенденций на рынке устройств, а выбивали бы вшей из потного халата? Или изогнувшись, как живой еще в те годы Вацлав Нижинский, вынимали бы из задницы колючки, вбитые туда копытами прыгающих по вашему телу овец? Было в те тревожные годы такое легкое, сравнительно, наказание: связав по рукам и ногам, наваливали наказуемому на спину кучу колючего кустарника и прогоняли по нём стадо.

Ну, старик, понятно, долго всего этого не выдержал. Кроме того, он все больше мешал дальнейшему развитию сюжета. Поэтому силы окончательно оставили его.

«Я пойду, а ты ложись и умирай, ты уже очень долго жил», — сказал ему Человек с Широко Расставленными Зубами.

«Так у шакалов — не у людей, — отвечал старик. — Ты — человек?»

И он остался. Это был момент сознательного выбора, самоидентификации на шкале Человек — Шакал. Где «шакал» на этот раз было «плохо».

Шакал вообще был неотъемлемым аксессуаром повествования. Постоянное наличие на заднем плане лишенных какой-либо нравственности существ, завывание в темноте, шуршание в зарослях, посверкивание красноватыми глазами и щелканье зубами замечательно подчеркивали нравственное напряжение решающих этические вопросы героев. По разрешении же проблем (обычно это случалось еще до восхода солнца), когда уменьшившись в количестве, действующие лица покидали сцену, снова мог торжественно прозвучать заключительный аккорд. (Папаша, кстати, великолепно умел подражать как шакальему, так и волчьему вою.)

Главный же герой не вписывался в обстановку. Частенько вел себя не так, как нам хотелось. Черт знает, до чего это было противно: вползет ночью в палатку какого-нибудь Исмаил-хана, вытащит у него из-за пояса кривой ханжал и... вместо того, чтоб широко размахнувшись, воткнуть *«в обросшее шерстью сердце шакала»*, zalюбуется *«сверкнувшей в лунном свете»* удивительной работы чеканкой, арабской вязью, волнистым узором булата и прочей художественной чепухой. И тут, некстати совсем, полетится лирическое отступление об ауле Кубачи, о тамошних мастерах, о закалке шашек. Словом, сплошное краеведенье... А Исмаил-хан так и останется незарезанным.

Второстепенные персонажи били по голове палками и дубинами, втыкали под ребра финки, штыки, стилеты и кончары, палили из мультуков, маузеров, винтовок Мосина-Нагана, доводили до кипения воду в рифленом стволе *«верного Максима»*, а Человек с Широко Расставленными Зубами лишь горько улыбался.

Дело было в том, что его автор не умел драться. Я даже и представить себе не мог бы, что он ударит человека.

Однажды только бросился на тупоголовых идиотов, застреливших летом белочку. Пальнули, просто чтоб убить, без всякого иного смысла. Дробью, да еще и летом.

Заорал диким голосом, вырвал из рук ружье и разбил о ствол сосны.

Т.е. напал на мирных граждан, отобрал ценную вещь и тут же уничтожил у них на глазах — без всякого повода. Все это можно было прочесть на их лицах. В которые между тем понеслась невыносимо цензурная городская брань:

— Мразь! Сволочи! Безмозглые мерзавцы! — прокричал он. Потом замолчал, подумал секунду и забросил обломки в кусты. Один сволочь тут же кинулся искать. Другой покрутил пальцем у виска. Третий развел руками. Это были хорошие люди... А могли бы и на нож посадить — четвертый все время что-то строгал.

«...дни старика были сочтены. Его вскоре поглотил песок. Никому на свете более не нужный, Человек с Широко Расставленными Зубами двинулся дальше. Узнавшего сострадание и любовь потянуло к людям».

Разумеется, его поставили «к стенке». Характернейшая деталь гражданской войны! Литературно-психологическое же ее содержание вскрылось позже...

В пустыне плохо со стенами... Потому-то действие перенеслось в Хиву, в крепость Ичан-кала. Ее мрачные развалины послужили идеальным фоном к следующей сцене: связанных попарно людей загнали во внутренний двор и оставили под палящими лучами солнца. К вечеру третьего дня половина погибла от жажды.

В шесть утра (!) во двор вошли. Велели встать у стены. Многим пришлось волочить на себе привязанных к спине мертвецов. Потом всех — живых и мертвых, срезали из пулемета.

Шесть часов, шесть часов... В пятидесятые годы многие умирали от гриппа в шесть часов утра — так значилось в документах, выдаваемых родственникам.

И все же, на зимние каникулы, он появился — в районе ж.д. станции «Клавдиево». Прошел, не оставляя следов, по ноздреватому снегу. Присел по своему обыкновению в стороне и выслушал новый рассказ о себе. Возможно (уверен в этом!) не я один разглядел тогда его мосластые худые колени и черные в свете костра полосы крови на расстрелянной груди.

Воскресенье Человека было воспринято как само собой разумеющееся. Его давно уже не доставало в слепо-немоглухом путешествии по золотому моему детству: по школьным коридорам, в утесненном со всех сторон застывшем в обморочном отупении быту...

Как я теперь только понимаю — не зря стреляли-давили этого самого с Широко Расставленными Зубами. Неоднократные попытки избавиться от него свидетельствовали о многом.

Отец тяготился своей природой. Захотелось ему, если не быть, то хотя бы жить как все... Не пугаясь, в частности, собственных намерений, мыслей и оценок. Но взрыва не произошло. Конфликт Советского Педагога и Аутсайдера с Широко Расставленными Зубами разрешился — второй ушел в глубину, а первый с недоумением присматривался к себе.

О, до чрезвычайности интересный момент! Чего у него не было, так это привычки делиться своими личными психологическими проблемами. За голову он никогда не хватался. Мрачен бывал — да! Но недолго. Я всегда подозревал — нет, куда лучше сказать: подсказывала мне интуиция, каковая есть обобщение опыта (совместного проживания на одной жилплощади, хождения как по равнинной, так и по сильно пересеченной местности, в различных климатических зонах и погодных условиях), что многое он делал вообще не думая. Руководимый, так сказать, позывами подсознания.

Появилась привычка к переодеванию. Натягивал на себя хантайские кисы, напяливал рыбацкие непромокаемые доспехи, раз даже ухватил удивительно чуждое его рукам ружье... Позволял запечатлеть все это на пленке.

Сотрудницы Министерства просвещения, пионервожатые, студентки Института иностранных языков, ученицы старшего — и, подозреваю, среднего школьного возраста — вязали ему шерстяные шапочки из викуни, мохера, простой шерсти и прочих подручных материалов, шили пуховые куртки из парашютного шелка, выдвигали на ответственные посты и поголовно мечтали влезть в его палатку. Они хранили в тетрадках, дневниках и закрытых на замок тяжелых, бюрократической полировки, ящиках столов, его фотокарточки: в распахнутой штормовке, в зюйдвестке, в туркменском тельпеке, в лопарской малице, верхом на верблюде, с ледорубом, на фоне гор...

Меня от всего этого тошнило...

В то время играли в «Хемингуэя».

На прилавках книжных магазинов появился портретик писателя — в грубом свитере, в бороде и с трубкой. Широкие массы интеллигенции — от врачей до инженеров, — опознали в нем давно искомый свой образ.

В любой квартире, где только были книжные полки, рядом с черным изданием сочинений прогрессивного, оказывается, писателя, засветилась его серебристо-мрачноватая улыбка.

Бедный отец! У него как раз был грубейшей вязки серый свитер. И он очень любил Джека Лондона.

И вот, он тоже стал ходить в свитере, с еще непоседевшей, правда, бородой.

С трубкой было хуже. Белое Безмолвие плохо относится к курящим туберкулезникам — даже бывшим... А тогда, как раз начинался Северный период: Кольский, Ямал, тайга да тундра.

«Хемингуэи» наталкивались друг на друга. Встречались на туристских тропах, слетах. Заглянешь, бывало, в клуб туристов, а там сидит пара-тройка...

Папаша и так не особенно умел одеваться, а тут, потеряв какие-то пусть и малозначительные, но все же внутренние ориентиры, и вовсе стал страшен. Бережно храню фото: герой Великой Отечественной Войны Маликов, в пальто и фетровой шляпе, беседует на фоне слушателей с человеком в красной, парашютного шелка, самопальной «пуховке» (из нее вечно лезли куриные перья) и подаренных сочувствующим водолазом штанах. Штаны эти вообще-то одеваются под скафандр и имеют вид кальсон (грубой вязки!) Так они и выглядят на фото. А куртка сзади длиннее, чем спереди. Такой вид придала ей талантливая дизайнер — чтоб не дуло сзади и чтоб садиться зимой на холодные предметы. Наряд довершает вязаная другой почитательницей шляпа-колпак, буратинского вполне фасона, с большой кисточкой. Устрашающего горчичного цвета. Ну, и горные ботинки-вибрамы.

Каркала радиоточка. В ее жестяном нутре происходили важнейшие события, великие осмысления бытия: среда обитания нуждалась в скорейшем окончательном подчинении.

Никто не ждал от нее милостей.

«Ученые вырвали у природы еще одну тайну!» — вещал черный раструб, словно речь шла о коварном враге, пробравшемся в наш тыл.

Вели «битву за урожай». Разворачивали вспять реки, наливали рукотворные моря. Покоряли тайгу и лесостепи. Обводняли пустыню и грели тундру.

Быт семенил следом — в своих прелых туфельках. Я видел рассаженных на газетах в самом устье ущелья разомлевших автобусников-экскурсантов. По команде фотографа они задирали ноги и вопили: «Покорителям Большого Каньона — ура!»

«Покорители» обычно отличаются слепоглухотой к поряемому. Коллекционируют рекорды и кубки. Ходят не в горы — на «штурм» вершин и перевалов. В те годы их, исподволь и мудро, на всякий случай, подготавливали к оттаиванию «холодной войны», к возвращению ей нормальной температуры.

Сам Дядя Валя отслужил в десантно-диверсионном подразделении — с горным уклоном.

Там его уважительно называли: «Степаныч».

По отвесным скалам пробирался на секретный объект и писал мелом: «взорвано».

Взрывались чьи-то карьеры, летели не осколки — погоны...

Но голову можно было сложить свою собственную.

Легче всего заразиться чепухой — юные курильщики прикуривали «как Дядя Валя». Сыпали в любой суп (чаще всего рассольник) красный перец — ложками.

(Все настоящие альпинисты — с Кавказа!)

Кое-кто даже пытался заикаться...

Заика Степаныч не умел рявкать. Команды отдавать не любил. Предпочитал, чтоб сами понимали, что и когда нужно делать. Отчитывал без огонька, ругался тихо, почему-то лишь «т-т-турком японским».

Привнесенная, было, Степанычем — Дядей Валею в горно-туристический быт «стальная армейская дисциплина» потеряла свою ненужную по сути завитушку: идиотический железистый звон. Постепенно превращаясь в «осознанную необходимость», которая есть свобода. (Как говаривал немодный ныне густобородый классик.)

И почему только этот талантливейший во всем человек не занял «достойного места» среди коллег? Не руководил где-нибудь? В ВЦСПС? В Центральном Совете — по туризму, к примеру... Думаю, дело было в болезни. У него, как я понимаю, был тяжелый *lalonevros* души. Его душа начинала заикаться каждый раз, когда нужно было сделать разумный карьерный шаг. И шаг никак не шагался. Он начинал задумываться, спотыкаться. (Не лезь в бутылку! — как-то веско сказал ему малознакомый руководитель чего-то, предлагая место, а Дядя Валя подумал, что он намекает... ну и схватил за лацканы...)

Другое дело по карнизу! В непогоду! Когда «в ледяную стену бьет крупа густая» — одна из песенок, которую он тихонько мычал себе под нос, пока другие пели. О, шагать он умел! Даже через много лет, когда ноги уже не ходили.

Какой-то был праздник — нет, не Новый год еще... Что-то личное... Помню, стоял в расстегнутом пальто и думал: вот, опять не хватило... Но все уже разошлись. День-то был рабо-

чий. И яркий такой, солнечный. Как раз самый полдень — вернее, обеденный перерыв... И тут широко распахнулись двери подвала «Аист». Из них выпал махонький человечиска и на карачках полез вверх по мокрым ступеням. Вцепившись в чью-то сердобольную клешню, он, наконец, встал на нижние подпорки и церемонно поблагодарил за помощь. На голове его оказалась синяя лыжная шапочка с некогда белым помпоном. Помпон двинулся вверх по улице. Он то замирал, раскачиваясь из стороны в сторону, стараясь «поймать эквilibrium», то, поймав, устремлялся поспешно вперед, — к густо-синим теням на ослепительно рыжем снегу. Там, в тенях, подъем стал покруче, народ там скользил, осторожничал. И тут полудохлый пьянчужка подобрался, нахохлился, легко и свободно пошел вверх. «Во дает!» — заорали из «Аиста». Я кинулся было к нему, но вовремя остановился. Я вдруг узнал и помпон, и седую щетину, щенячья моя радость тут же сменилась болью. Человечишка был Степаныч...

Куда труднее было научиться — не виртуозному взлету по отвесной стенке, не висению на одном пальце с ликующей улыбочкой. Терпению... Постоянному, шаг за шагом преодолению чуждой, человеконеобитаемой среды. В которой труднее дышать, чем на вершине. Что означает тут неизбежный почти алкоголизм? Разрушающий — тело? Душу — у кого она есть? Впрочем, один знакомый многозначительно утверждал, что трудней всего дышалось ему на «Пике Коммунизма».

Но не ошибался ли он горько?

Мало ли чем болели тогда... Легче ли дышится нынче?

«Боевые задания» получали сталевары и микробиологи. Альпинисты — само собой! Пыхтя от напряжения, втащивали на семитысячник бюстик В. И. Ленина. А к нему — мешок особо прочного портландцемента, для крепежа в условиях ураганного ветра и черт знает, чего, — но «чтоб сто-ял насмерть!»

Традиция, кстати сказать, прижилась — сейчас волокут на вершины эмблемы спонсоров, крепят флаги сверхнадежных банков, финансовых групп, бюстики каких-то раздувшихся от важности пигмеев...

Звездные атласы украсили имена наших знаменитых соотечественников. И вот, несутся по орбитам Марс, Юпитер, Нептун и Магомаев — небольшой такой астероид. Ну, и Земля.

Люди в восторге от самих себя.

Дядя Валя любил слушать про Человека с Широко Расставленными Зубами — «И откуда т-ты только все это берешь, К-к-кимуля»...

* * *

Разумеется, Человек с Широко Расставленными Зубами был совершенно неуловим. Во всех без исключения рассказах его пытались схватить, задержать, подвергнуть аресту, заманить в ловушку. На него бросались из засады, накидывали аркан, норовили подставить ножку, столкнуть в накрытую ковром яму, подсыпать отраву, месяцами шли по его следу... Иногда это удавалось, и тогда открывалась волшебная возможность — до предела раскалить повествование головоломным побегом!

Слушатели застывали, открыв рот.

Он уходил из разрушенного мазара, куда через дыру в своде, связанного, бросали его *«люди хивинского хана»*, избитый до бесчувствия, приходил в себя на полу подвала *«мед-ресе Балбак, где истязали еретиков-суфиев»*, он спускался с *«Башни Смерти в Самарканде»* (способом Ганса Дюльфера, в полном согласии с методическим пособием, — подложив под правое бедро свернутый втрое халат, чтоб не изрезать веревкой задницу)!

Он просто не мог не убежать из ужасающей тюрьмы Зиндан, где *«лишенные воздуха и света, потерявшие счет времени, бродили кругами еретики, убийцы, грабители, по-*

следователи персидской секты душителей-иммаитов и язычники-маси, убивающие врагов камнем, завернутым в матерчатый пояс» ...

Конечно же, он спас там мудрого дервиша, и тот ввел его в транс. Лишенный чувств, он стал подобен трупу, его сочли мертвым и, вытащив железными крюками наверх, сбросили бесчувственное тело в общую могилу, — далеко за кладбищенской оградой, *«где волки и шакалы пожира...»*

Богатый литературными реминисценциями сюжет содержал и более глубокий план, до которого я тогда не дорос. Сумасшедший дервиш отказывался покинуть места заключения: *«Творец создал меня, Творец создал Зиндан, Творец привел меня сюда — к чему бежать? Следует ответить самому себе на вопрос: зачем я здесь? Быть может, я здесь, чтобы понять что-то?»* — *«Но чем я могу помочь тебе?»* — спрашивал Человек с Широко Расставленными Зубами. — *«Ты уже помог мне, — отвечал дервиш. — За эти годы я слишком привык к здешнему народу, и тогда Господь прислал тебя».*

Ну и, естественно: *«Справедливо Колесо!»*

В те годы мыслящие люди снова зашептали друг другу на ухо о том, что тюрьма — естественнейшая ячейка общества, что свобода, якобы наличествующая за «колючим забором», есть лишь иллюзия, порожденная невежеством.

У окружающих меня свобода ассоциировалась, скорее, с успешным преодолением школьного забора в направлении зеленого оврага, с крошечным ручейком на замусоренном дне.

История о человеке, не желавшем «на волю», вызывала у слушателей сомнение, и тогда всплывал исторический рассказ о Томмазо Кампанелле, заявившем своим тюремщикам после четырнадцатилетнего заключения в подвешенной к потолку железной конструкции: *«Это вы сидели в клетке, — я был свободен!»*

Дервиш вручил ученику некий «ключик» от всех в мире дверей.

Граф Монте-Кристо в аналогичной ситуации получил лишь несколько сугубо практических наставлений да сундук с бриллиантами.

Тогда, весной 1968 года, в чахлам лесочке у ст. Ирпень, отец почему-то нервничал, прерывал рассказ огромными паузами, так что мы думали, никогда его не закончит.

А мне всегда казалось, что уж кто-кто, а он-то хорошо знает, «зачем он здесь».

Все эти выдуманные приключения в полувыдуманной Средней Азии — я пережил их! И куда как пронзительней, невыносимей, чем бледные коллизии обывательской моей жизни.

Трактуемые до сих пор с точки зрения отрицательного этого героя. Положительного, впрочем, с моей и моих корефанов точки зрения. Так и не удалось излечиться полностью, укрепиться, нормализоваться...

* * *

Объяснимо лишь сложное. Простое необъяснимо и непостижимо. Шум леса неслышен сперва. Потом вдруг замечаешь его, когда сам стихнешь. А через неделю вдруг узришь: маленькая шумящая точка, где-то с краю, — ты сам. Внизу слева. Сбоку от. Что-то галдит свое. О чем-то несущественном, оставленном там, странном, бесполезном и ненужном. А лес — без конца, вверху, внизу, со всех сторон. И шум, который больше самого леса...

А так, попросту, по-нашему, по-человечески — говорят: в березовом — веселиться, в сосновом — молиться, а в еловом — повеситься.

Один мой дружок так и сделал. Вообще-то, он был веселый человек, — чересчур даже. Станный немного. Однажды зимой радостно сообщил, что у него согрелась нога. Дело

было в лесу, сейчас не помню в каком. Сварили манную кашу. И накрыли ведро штормовкой. Каша как-то поспела раньше времени — там еще возились с лагерем, таскали хворост, снег был очень глубокий. Все были в бахилах. Самодельные такие мешки на ноги, чтоб снег не набивался в ботинки. А возле костра навалили кучу снаряжения. И это самое ведро сунули куда-то между рюкзаками. Он присел на рюкзак и не заметил, как нога попала в кашу... Сидит и травит. О том, как они с друганами...

Учился плохо. По поведению — твердое три. Но хороший товарищ. Разве только чересчур впечатлительный. Немного нервный. И сильнейшее впечатление на него производили фильмы о партизанах, рассказы ветеранов ВОВ.

Как-то раз, летом, на Водогоне, неподалеку от Вышгорода, нашел мину. Закопал ее в песке, на проезжей дороге. Проехал грузовик, мина не взорвалась, но было «во как здорово!»

Мы считали, что он чуть-чуть того... В те давние времена не хватало еще психологов, психотерапевтов. Соответственно, было больше нормальных.

Ну, и потом, когда все стали постарше и начали выпивать, он пил больше других.

А через пару лет повесился. В еловом лесу. Есть такие елки в Голосеево. Были когда-то, во всяком случае. Мы играли в разные игры, разводили костры. Укромное место, скрытое от посторонних глаз. Стоишь на холме, а вдали город. Дома, домики, трамвайчик едет... Панорама! Я никогда больше не бывал в этом лесу. Но почему-то ясно вижу — через десяток лет взметнулись там корпуса неведомого мне НИИ, а потом, в перестройку уже, обветшали, заброшенные. В них поселились бомжи, приبلудные собаки... Возник таким образом рассадник заразы. Снесли их, и вот, — стоят ныне на этом самом месте полные света и восторга загородные виллы инженеров человеческих душ, архитекторов перманентной перестройки, или, вряд ли, конечно, — сотообразное жильё трудящихся.

Но если когда-нибудь попаду туда (ведь можно даже сейчас прикинуть, где оно), узнаю угрюмую сырую землю, мрачнозеленые обвисшие лапы... И самому захочется.

Хотя елового никакого леса, уже лет пятьдесят, как нет.

А в березовом — наоборот, веселятся. Такие леса как раз были под Вышгородом, там много строили, заселяли трудящихся. Ну, и в Голосеево тоже. И трудящиеся веселились в этих самых лесах. Страшно там было. Деревца, какие потоньше, обломаны. Кругом мусор и битые бутылки. И, совсем уже не в тему, висит кошка или даже собака. Вообще валили что попало в радостные серебристо-золотые, солнцем налитые просторы, несли туда все, что в душе накопилось...

Насчет соснового леса необходимо сказать прямо — молиться не умели. Молились, чтобы страховка не подвела, — да и то лишь в известной песне Высоцкого. А в лесу страховаться — от чего? От себя самого и то не застрахуешься. Но вот если залечь под высокое дерево, головой к стволу, и смотреть вверх, туда, где сходятся темные вершины, покажется, что все опрокинулось, что сейчас упадешь-улетишь в небо. Что ты уже не ты, а какая-то фигня, что-то вроде шишки или даже желтой кривой иголки. Может, это молитва и есть.

Разумеется, такое сильно отвлекало от учебы и общественной деятельности. Мешало жить и строить. Наоборот — хотелось думать. Даже не думать, а так, — уноситься мыслью. Туда. Где несть суеты. Где моль и ржа не точат, и воры не подкапывают и не крадут, — как сказал один в своей Нагорной проповеди. Ему, кстати, ничего не оставалось, как объяснять слушателям непостижимое небесное в знакомых земных образах. Отсюда и воры с подкопами, насекомые... И вот в небесах — именно что-нибудь, чего тут нет. Такое славное место. Где мозги не парят. Не требуют верных ответов на животрепещущие вопросы. Потому народ и придумал это — насчет леса соснового. А народ всегда прав — так партия учила, которая, как она учила, одно с народом.

Бродили по лесам сосновым Красные Следопыты. И набрели... В одной деревне один старичок рассказал.

Председатель колхоза прославился жестоким раскулачиванием односельчан. Отцов-матерей выслали в «районы крайнего Севера». Дети почти все умерли от голода.

В период немецкой оккупации выжившие сыновья раскулаченных отомстили — убили детей председателя. Повесили посреди села на проволоке, натянутой меж двух сосен. Проволоку продели сквозь пробитый балочным гвоздем череп. Вставляли гвоздь в ухо и били молотом.

Отбыв двадцатипятилетний срок, один из мстителей выжил и вернулся в родное село.

Рассказчик поделился своей мечтой — поддеть его на вилы.

В тот день Красные Следопыты потеряли привитую было привычку судить. Рассуждать обо всех и обо всем.

Долго тынялись по лесу. Говорили о чем угодно, смеялись дурным смехом. Кое-кто рыдал в кустах.

Глядели на лес и не могли избавиться от мыслей: вот тут голодные дети совали в рот сыроежки, вот тут палками копали могилку умершей сестренке...

А тут... тут, через десяток лет, они же, тащили за руки детей председателя — к проволоке, к молоту.

Как раз тот случай, когда «конкретные задачи» сталкиваются с жизнью. Где вы, товарищи понятия?

Подпишите протокол и ступайте домой — пить горькую... И зовите товарища попа, раввина, что ли, психолога с философом, пусть пьют вместе с вами. Молча.

* * *

Сейчас меньше читают, чем тогда. Тогда времени было больше. Кое-кто таскал с собой книги в лес. Даже песня такая была — насчет лучших книг, которые в рюкзаках хранят. Автора не помню. Но это совсем уже чудачки были. Которые на пиратском корабле читают про пиратов.

В детском туризме всегда этого не хватает. Во взрослом тоже. И тогда, и сейчас. Некоей подлинности, которую иногда трудно ощутить. Естества. Каковое есть в жизни любого настоящего бродяги, той же собаки приبلудной. Ведь даже экстремал, на дельтаплане висящий, и тот понимает, что если не уьбьется, то вернется к вполне приемлемой жизни, где этого самого экстрима катастрофически не хватает.

Возможно, вся проблема состоит в культурной привычке: делая одно, думать о другом. Думая, — делать что-нибудь полезное. Рассуждая с беломориной в зубах о кантианстве, мыть посуду.

Статистика неопровержимо скрывала в те годы: в туризме недопустимо высок процент интеллигенции — в ущерб рабочим и крестьянам. Культура ушла в лес. Какие только разговоры не велись на привалах! Вырванные из бытового своего контекста, люди превращались в бессмысленные фразы, зависающие между кустами и кучей валежника. Экономист-бухгалтер несмолкаемо моноложил о теории относительности в физических образах: «Достаточно только ясно представить себе два поезда, которые выехали со станций А и Б друг другу навстречу со скоростью 350 000 км/сек».

Поддакивала ему детская врачиха. В ее широко раскрытых глазах открывались космические глубины, невероятные чувства, невообразимые возможности... Она заламывала пухлые ручки, женственно дышала напомаженным ртом. Потом, как водится, переключились на летающие тарелки. Кандидат наук, «чистый математик», тем временем рассуждал о пчелах. У людей возникали новые интересы, незнакомые прежде стремления, им вдруг хотелось плакать. Не говоря уже — петь. Вспоминать совершенно случайные эпизоды, совершенно ненужных, давно позабытых знакомых. Совершать непривычные поступки. Вдумчиво обсуждать нереальнейшие и несбыточнейшие планы. Всерьез вступать в кратковременные отношения.

— Почему он болтает о том, чего понять не в силах? — думал я. — Почему не о клизме и детской присыпке рассуждает врач, не о способах накладывания жгута или о переломах конечностей?

Оставалось предположить, что виновато в том «молчание космоса», представленное в эту минуту карканьем вороны или шелестом осины, отсутствие конструктивных указаний со стороны непосредственного начальства, а может, и попросту излишне свежий воздух, содержащий запах трав, подопревшей по случаю недавних осадков хвои и древесной смолы. А также излишне свободная форма одежды и обуви, неформальное обращение на «ты».

Впрочем, по окончании путешествия почти все эти милейшие люди с новыми силами возвращались к мирному труду. К черным сатиновым и белым медицинским халатам. В кабинеты с лабораториями. И там, проветрившиеся и взбодрившиеся, они делились с коллегами своими яркими впечатлениями, рассказывали о пережитых трудностях, о покоренных маршрутах. Участвовали в заседаниях, научных советах... Громили с кафедры. Несли к урнам бюллетени.

Т.е. становились вполне адекватными.

И к ним, соответственно, возвращались необходимые на производстве и в научной работе вещи, как то: тревожная складочка на переносице, излишне серьезный тон, истерика в женском туалете и затрудненное мочеиспускание в мужском. Но кто, кто рискнет научно и неопровержимо доказать, что к ним не возвратилось — пусть и в самой малой мере — душевное здоровье? Душевная доброта? Духовные интересы? Не нормализовался обмен веществ и кровяное давление?

С особым чувством, или даже излишней чувственностью, певали они почему-то о пиратах.

Вдали от рабочего места. Условностей трудовой дисциплины, служебно-производственной лояльности. При слабом освещении. Костра, звезд, луны. Трудно даже сыскать такого барда, трубадура или способного к лирике ваганта, который

хоть разок да не создал бы пиратскую песню. Флибустьер! С гитарой. Талантливый, благородный, — и к тому еще и злодей! Совершенно неотразимо!

В конце концов, через много-много уже лет, летучие корабли понесли своих успокаивающихся по мере удаления от берега пассажиров за море-океан — к новым рабочим местам. Кстати сказать, не все их получили. Я встречал их, постаревших и обрюзгших, в обличье владельцев турбюро и ресторанов, экскурсоводов и бомжей, программистов и грузчиков, в креслах бизнес-класса и у контейнеров с гуманитарной одеждой. Они заговаривали со мной о чем угодно: от бесплатных обедов при синагоге до клуб-поездки на Маркизские острова, но никогда о «флибустьерах и авантюристах». Разумеется, где-то, в потаеннейших уголках души, они еще размахивали абордажными крючьями, саблями и широкоствольными аркебузами.

Люди часто думают не о том, что делают. Это «болезнь века», как писал в своем бестселлере Экхарт Толле.

Но возможно ли болеть чумным этим поветрием, соскальзывая в сторону обрыва? Царапая ногтями по отполированному водой камню и глядя зачем-то на страховочный репшнур, который в этот момент кажется тоньше, чем обычно?

Хочется думать о том. О настоящем. О своем.

До этого додумывались думающие.

Велик был процент доцентов и среди бомжей. Интеллигентнейшие люди выбрасывали в мусорный ящик паспорта и уходили от общества в... куда, собственно, они уходили, так ли уж принципиальны отличия сообщества изгоев от сообществ иных? Ведь лояльные граждане тоже люди! И отношения в среде лояльных и нелояльных одинаковы по сути. Впереди-сверху — лидеры, внизу-позади — аутсайдеры. Посредине еще что-то. И лояльные с нелояльными — одна система и у тех, и у других отношения: одни гонители, а другие...

Запущенные вшивые алкоголики, преследуемые милицией, дачевладельцами и трудовым крестьянством. Курвиметры скорбных дорог...

И все же их тянуло. Пусть не «к» а «от». Они оставляли социум и его первичную ячейку — семью, променяв эти пусть и душноватые, но уютные вещи, на отсутствие гарантий. На тотальную непредсказуемость. В каковой, собственно, homo erectus и превращался настойчиво в homo sapiens-а. Возможно, ему было при этом не так уж плохо, как принято считать. На это намекает и самая читаемая в мире книжка — пусть и в легендарно-мифологической форме. Но мы уже во как далеко от всего этого ушли.

Лишь в Индии еще просыпаются по утрам на голом асфальте полуголые счастливицы и благодарным жестом встречают восход солнца. А могли бы впасть в депрессию, глядя на летящие мимо туристические автобусы с бельгийцами. Занимающими, кстати, одно из первых мест по количеству самоубийц в расчете на душу населения. Слушающими в своих автобусах медитативно-психоделическую музыку с помощью наушников ценою в годовой запас риса.

Человек нуждается в стрессе. Привык за миллионы лет. А без этого болеет, жиреет. Сердечно-сосудистые, депрессия, алкоголизм, на иглу садятся... Конечно, без штанов тоже не уютно. Но и в штанах не стоит слишком удаляться. Потому — возвращение. В отпуске, в каникулярное время...

* * *

Погруженные с головой в жизнь, мы с каким-то потрясающим сознанием необходимости рассказываем друг другу истории об этой самой жизни. И, что характерно, чаще всего это случается в долгом пути. На железной дороге, к примеру, где надо бы говорить о железнодорожниках. О том, что холодно в вагоне, что чай не несут, что сортир изгажен и вообще не работает.

И происходит это оттого, что некогда поверить в эту самую свою жизнь. Рассказывая другому человеку вот сейчас нарождающуюся версию давно минувших событий, люди получают возможность как бы допереживать их, ибо когда-то, в прошлом, им не хватило на это времени.

И кто знает, может, тогда они как раз думали о железной дороге, уезжали по ней далеко-далеко «из этого поганого города», «от этого мерзкого человека».

Проплывает в окне водонапорная башня, а за ней — поле, трактор, вокруг трактора едят какие-то люди. Кто-то виляет на велике по раскисшей дороге. А мужик всё рассказывает пожилой незнакомой женщине о своем сыне. И закончить никак не может. То вспомнит, как подрался с ним, уже взрослым, когда тот из армии пришел и «был как дурной», то как ходили «по рыбу» на «от таком манюсиньком човнику», то как из роддома забирал, и нес на руках одиннадцать кэме, «потому шо машина завязла».

* * *

Возвращение... Не столько познаешь, сколько узнаешь. В кукле — дочку, в себе — маму. Дочки-матери. Цыпленок бежит за первым увиденным предметом, и, если это ты, побежит за тобой. Вот ты и курица. И чему же ты его научишь? Добру с кулаками? Теории струн? Восьмеричному Пути? А может, эссеистике, менеджменту... Гуманизму? Пить-курить-матюкаться? Вилять жопой? Ладить с коллегами по курятнику?

Одному ты не сможешь его выучить — быть цыпленком.

Никакой человек не научит быть человеком. Останется эта самая человечность за кадром... Научить можно лишь своему — чужому, то есть. А человечье — всегда свое собственное. Или всегда общее?

Как-то раз я нарисовал его — Человека с Широко Расставленными Зубами. Нельзя сказать, чтобы он выглядел привлекательно. Не имея ни сколько-нибудь значительного таланта, ни простейших навыков этого дела, я сосредоточил свое внимание на том, что мог изобразить. Тщательно прорисовал широко расставленные зубы — в ущерб собственно человечности, каковая осталась как бы вне листа промокашки (ибо именно на этом банальнейшем атрибуте моей жизни был предпринят первый опыт). Зато явственно проступали где-то в районе лобной кости бледно-чернильный знак «плюс» и еще половинка чего-то — то ли тройки, то ли пятерки, наводя на мысль об успеваемости.

Одним словом, сделал что мог. Творчески допустил элемент случайности — розовый фон и говорящие кляксы (Роршаха?). Так, собственно, и поступает любой человек. Воссоздает мир в своих концепциях, принимая их за реальность. Каждый из нас, подобно промокашке, бережно хранит не всегда понятные знаки прошлого, объединяя их фоном по возможности приятного цвета. (Судите сами, чего может стоить и эта, думаю, последняя попытка.)

Пытаясь опознать в ближнем человека, мы прикладываем к нему не что иное, как себя в качестве шаблона истины, предполагая наивно, что Шекспиры, Дон-Кихоты, Махатмы Ганди и прочее такое, принимаемое нами за образец искомого, находится не в нас самих, а где-то еще. И беда тому, кто не совпадет!

Мы оперируем при этом скорее шпагой и кинжальчиком, в которые вцепился предполагаемый автор «Гамлета» на популярном своем портрете, чем психологическим портретом этого излюбленного психологами аутсайдера, так и не наладившего ни семейную жизнь с Офелией, ни здоровый процесс престолонаследия в своем государстве. Взял, да и умер, отравленный сталью не по назначению.

Когда отец не совпадал с шаблоном отца, им самим предложенным в качестве такового, когда я цыпленком примеривался к его гигантским шагам, — у-у, как же я бесился!

В качестве шекспировского героя разглядываю лишь тень, о чем фрейдистски оговорился в самом первом абзаце (не предполагал, что дойду до Шекспира!).

И что тень мне завещает? Быть или не быть? Аутсайдером? Или вписаться, наконец, в коллектив, в который я так и не вписался? Уж я ли не тужился! Но еще в молодые годы добрые мои одноклассники пинками отгоняли меня, туповатого и малорослого, в самый темный угол. Пока не отогнали на такое расстояние, в такую золотую даль, где их мнение обо мне, да и они сами, потеряли всякую значимость. А с ними и всё последующее коллективное. Человек, однако, не может двух вещей: жить без общества и быть свободным от него. Так учили классики единственно верного всепобеждающего ученья. Я присоединяюсь и поныне к любой почти компании, но лишь замыкающим. Замыкающий может превратиться в отстающего. А там и вообще сбиться с дороги. Затеряться в «шуме леса». Если коллектив не в ногу с ним двинется к зовущему бодрой музыкой и разноцветными лампочками месту своей тусовки.

Содействовала ли библиотека доктора Гуральника здоровому развитию моей психики? Преждевременное знакомство, пусть лишь с заглавиями трудов Фрейда и Ломброзо? Обнаружение в пропыленной желтой книжонке непонятно пугающего схематического изображения женских половых органов с воткнутыми в самую середину острыми стрелочками и маленькими цыфирками? Замена простых и человеческих слов «козел» и «мудак» на вызывающие удивительные ассоциации «имбецил» и «УО»?

Доктор Гуральник был ранен. У него был осколок в ноге, и он виновато улыбался, хромая. Он переводил Юнга, записывал в тетрадку. Называл это «конспектик». Доктора Юнга тогда не то что не одобряли — о нем не слыхали. Слыхивали лишь о буржуазных мистиках-мракобесах. Докторов сын Алик (не Юнга, а Гуральника), впоследствии главврач больницы для неизлечимых хроников, ежевечерне, за чаем, наблюдал,

как родители спорят о «психологических типах». И Алик, ругаясь во дворе, употреблял термины, значение которых не всякий психиатр мог бы передать своими словами.

А я был еще малоначитан. Любил читать про Чингачгука. Заматерелый в язычестве старик-могиканин лежал под камнем, весь в своих татуировках, томагавках и священных трубках, не имея возможности познакомиться с блестящей доюнговской формулировкой, начертанной Фенимором Купером на его могиле: «Грехи его были грехами индейца, а добродетели — добродетелями человека».

Книга, кстати, называлась «Пионеры». Я как раз был пионером, носил красный галстук в кармане штанов. Вполне можно было бы уже задуматься о добродетелях и грехах. Личных и коллективных. Сознательных и бессознательных.

Куда как здоровее, впрочем, было играть в индейцев. Метать друг в друга деревянные ножи. Вырезывать боевые дубинки из ножек стульев. Украшать их резьбой. Пускать в ход. Алик пообещал написать на моей могиле: «Грехи его были грехами еврея, а добродетели — добродетелями пионера».

Мысли отца типологической теории до времени скрыты были в фиолетово-чернильном корявом почерке, в ученического типа тетрадках-конспектиках Гуральника-старшего. Надежно запрятываемых в запертый на ключ ящик письменного стола. За Юнга Гуральник-старший мог получить «по шапке». А может, и срок. Или бесплатное лечение. Имелись уже в наличии необходимые препараты. Окрепла и законодательно-принудительная база.

Энтузиастом-десятиклассником Алик поделился знаниями, почерпнутыми из вскрытого, наконец, деревянного сейфа. Я мало что понял. Меня раздражало словосочетание «коллективное бессознательное». Какое же оно бессознательное, если коллективное? — пытался самостоятельно мыслить я. Коллектив не может не знать о себе, своих кадрах. Пристально подбираемых. Коллектив сознательно отвергает

и топчет несознательных. Не желающих осознавать. Ценности коллективных ценностей: фасона стрижки, к примеру. Необходимости расклешения нижней части штанины путем вставления клиньев другого цвета. Мне хотелось иметь право хоть на что-нибудь безусловно мое, куда никаким способом не может проникнуть любопытствующий оскал окружающих. Мне хотелось, чтобы присущие мне архетипы полового инстинкта и желания властвовать над окружающими носили чисто индивидуальный характер, — не такой, как у нашего завуча.

* * *

Что же он такое, этот папашей надуманный? Человек ли? Что, где в нем человечье? Эстетическое-этическое? Говорят, первое предшествует второму...

Получается, он нюхом знал, что красиво, что нет. Что нравственно, а что не. Хоть о нравственности не слышал — по крайней мере, на заре своей туманной юности.

Тем более, что в годы его зрелые, учителя нравственности только и делали, что стреляли.

Мог страдать комплексом неполноценности по поводу некрасиво расставленных зубов. (Не как у других!) Что делает его близким современному культурному человеку, поголовно страдающему различными психическими расстройствами.

Но все эти рассуждения почти лишни. Задумываясь вслед, я позабыл, что папаша своего героя выдумывал. Точнее, рисовал с себя — как любой автор. Но все же, будучи евреем от рождения и советским человеком в зрелом возрасте, не мог от нравственности не устать. Не скатиться с той высокой ступени, где стоим мы с Вами, дорогой читатель, к первобытной, поэтической, если можно так выразиться, этике.

Размышляя, использовал в качестве инструмента почему-то сердце.

И сердцу верил. У него оно было доброе. Голова, конечно, спорила. Пыталась доказывать. В ней много чего было понапихано. Один Киевский пединститут чего стоил!

Короче говоря, мучился. Страдал. Да и, по правде говоря, как и любой, наделал бездну дурацких уродливых поступков, о которых старался позабыть. Но не мог.

Ему хотелось жить в ладу с испытываемыми им могучими эмоциями.

Потому-то (и это весьма вероятно!) выдумывал существо, с муками нравственности незнакомое, — да так и не выдумал. По мере выдумывания герой накапливал выдуманный опыт, который ничем не отличается от невыдуманного. Материал один — жизнь, да и концептуализирующий аппарат — все тот же головной мозг. В данном случае — папашин.

Сам папаша, кстати, был человеком в высшей степени совестливым. Но к счастью, несколько легкомысленным. Не склонным к самоанализу. Тем более, самокопанию. Не считал самого себя значительным элементом собственного бытия. Что так и не позволило совести сделать его мрачным психопатом или добродетельным резонером. Наоборот! Он был светел, радостен, готов ко всему, что угодно, в любые, даже самые тягостные и мрачные времена.

Вертел своей жизнью как выдумываемым рассказом (а она была ох как непроста!), делал в ней, что хотел, — и я не видал вокруг него ни драм, ни трагедий.

Он стал учителем истории собственного сочинения. Обладателем глобуса вполне личного. Разве что с Гринландией где-то в районе субтропиков. Битт-Бои и Ассоли выскакивали оттуда и поселялись наравне с поджигательницей абсолютно реального крестьянского дома Зоей Космодемьянской и пускателем-под-откос совершенно вещественных в прямейшем смысле немецких эшелонов Леней Голиковым в полубредовом мире моего детства.

Здесь я вынужден коснуться наиболее проблематичной части моего повествования — сексуального аспекта жизни Ч.с.Ш.Р.З. Неслучайны эти буквы и точки — так оно абстрактней, зашифрованной, символичней.

В пустыне вообще мало женщин — что им там делать? Разве что случайно забредет какая-нибудь...

Так и случилось. К моему и моих полуподросткового возраста спутников глубочайшему разочарованию, она оказалась молоденькой учительницей. (Кто их не видал!)

У меня лично «молоденькая учительница» вызывала лишь стойкое отвращение. Безвкусно одетая, в синих либо даже в фиолетовых бесформенных панталонах под дурно сшитым ситцевым платьем, в перекрученных чулках, прыщах, с запахом школьной еды, надежно впитавшимся в вязаную красную кофту. С педагогической (а стало быть, и сексуальной) бестактностью младшего лейтенанта. С набором поведенческих штампов, вынесенных скорее из рабоче-крестьянской семьи, чем из педагогического училища. Бывшая двоечница-шпаргалочница... О, сколько прошло их перед моими доверчивыми глазами!

Учительница, как известно теперь широкому читателю, наряду с няней является одним из первых экспериментальных объектов, с которыми будущий мужчина «прелюбодействует в сердце своем». С техникой этого дела моих одноклассников ознакомила мятая целлулоидная полоска, перфорированная по краям маленькими квадратными дырочками, предназначенными для прокручивания ее специальным колесиком в темных недрах фотокамеры.

Необходимо было приложить пленку к стеклу школьного туалета, и тогда в мутном свете можно было разглядеть трех человечков, занятых, как сперва показалось, сложными акробатическими номерами. Но хозяин драгоценного раритета открыл нам глаза на подлинный смысл происходящего: это два белых плантатора насилуют негритянку! И верно — два более

светлых силуэтика приникали с противоположных сторон к черненькому, вертели его так и сяк. По мнению авторитетных пацанов, нам следовало зазубрить эти фигуры наизусть, — в жизни пригодится! Впрочем, Вадик Котов, чей папаша занимался «луриками» — т.е. ездил за город с аппаратом, фотографируя доярок и комбайнеров, разъяснил: фото-пленка есть негатив, т.е. никаких плантаторов, — наоборот: двое негров глумятся над белой женщиной, — очевидно, освобожденные северянами рабы над своей хозяйкой-южанкой. Что все оказалось шиворот-навыворот, никого не смутило. Подробности черно-белого секса все равно приходилось воображать. Они плохо вязались с разноцветным бельем молоденьких учительниц, которое можно было разглядеть из первых рядов, роняя под парту ручку с жестяным пером номер 86, но и для осуществления этой редкой возможности заглянуть в вечно-женственное, нужно было хорошо учиться. Двоечникам, размещавшимся по неписаной традиции «на задах», приходилось довольствоваться сообщениями отличников и хорошистов: «Она сегодня в зелененьком!» — кричал отважный разведчик на весь коридор.

В общем, Ч.с.Ш.Р.З. не повезло. Дело было так: молоденькая учительница зачем-то решила пересечь Кара-Кумы. Кажется, кишлак, в котором она якобы преподавала чистописание, сожгли басмачи. И тогда, предварительно обеспечив себя бутылкой воды, она отправилась к железнодорожной станции. Дойти думала дня за два. Обнаружив полное невежество в географии вообще и общую неразвитость в частности, — что являлось, по моему мнению, единственной реалистичной деталью в рассказе. Впрочем, крайняя наивность женщины помогает завоевывать сердца: в дальнейшем учительница пожалела верблюда и решила нести часть его поклажи — дабы облегчить старому больному животному (с трогательно-человечными, удивительно выразительными глазами) вечный его путь через пески. По моим, туповатого школьника, расчетам, на долю чувствительной девушки досталось менее

чем 5% от общего веса поклажи: «корабль пустыни» способен нести на себе до 300 кг. груза, а «молодая учительница» не более 10–15, да и то, если физкультуры, а эта была чистописания... Студентки, иногда портившие в качестве младшего педперсонала «походы выходного дня», бывало, хаживали с таким весом — но не шибко и недалеко.

Впрочем, удивительные в учительнице доброта и самопожертвованье не могли не тронуть — я и мои товарищи легче примирились с судьбой Ч.с.Ш.Р.З.

Но положение все равно оставалось безвыходным. Какое у молодой пары могло быть будущее? Наиболее характерным в этом смысле является название моего любимейшего романа А. Грина: «Дорога в никуда».

Надо сказать, что с проблемой семейной жизни аутсайдера не справился ни один по-настоящему великий писатель. Мцыри успел погибнуть, растерзанный барсом, о Гамлете речь уже шла. Натти Бампо за все пять романов о себе сумел совершить лишь чисто символическое действие: как-то раз, расчувствовавшись на старости лет, завещал своей возлюбленной из самого первого тома абсолютно ненужный ей свой «длинный карабин».

«Алые паруса» унесли молодую семью курсом, оставшимся неизвестным. Автор мудро умолк, оставив читателя в неведении относительно бытовых подробностей первого семейного завтрака Ассолы и Грэя.

На помощь Джеку Лондону приходило «белое безмолвие»: в него удобно было отправить героя на самом пороге тревожной близости — (нет, не с женщиной!) — с возможностью построения социальной ячейки и последующего неминуемого ухода от пронзительного ветра, ледяного молчания и одиночества в некий смысл, искажающий образ сменившего одну безнадежность на другую.

Надежда на дискурсивно выражаемый «смысл жизни» вообще присуща овладевшему, наконец, дискурсом хомо сапиенсу...

Семейная же жизнь смогла бы в этом случае явиться символом смысла по отношению к существованию среди торосов

и наледей. В качестве приемлемого компромисса писатель использовал брак с представительницей индейских нацменьшинств Канады. Живописно задрапированная в оленью шкуру «скво», не будучи «белой леди», вряд ли могла бы в достаточной мере усложнять жизнь героя различными условностями, т.е. семья опять-таки не могла состояться в полной своей унылости.

Некоторое время выручали те же басмачи. Они гонялись за влюбленными, не давая уединиться для решительного объяснения, а потом похитили молодую учительницу. Но Ч.С.Ш.Р.З., разумеется, тут же отверг благоприятный поворот судьбы, — как и все прочие ее попытки как-то облегчить ему жизнь, и настиг их. Светила луна. Тревожно шуршали камыши. Под покровом темноты он скрытно пробрался в расположение противника и, отыскав предмет своей первой и единственной любви, выкрал его из-под самого носа негодяев.

Негодяи, кстати, должны были бы успеть надругаться над беззащитной героиней.

Такое мнение о них составилось у слушателей на основании всех предыдущих рассказов, в течение которых они только и делали, что жгли, убивали и проявляли все признаки крайней душевной черствости. Но литература, в том числе и устная, имеет свои законы: всю ту ночь негодяи спали непробудным сном.

Героиня осталась чиста. Что, впрочем, не могло явиться для воспитанного в культуре «кумли» Ч.с.Ш.Р.З. какой-либо ценностью. К тому же, по обыкновению романтических отшельников, он вскоре *«ушел в пески»*. Он уходил к тревожному горизонту, а раскаленный ветер, как полагается, заносил песком его следы...

Малолетние слушатели восполняли недостающее. Стремись к правдоподобию, простоте и естественности. Так поступают ученые, художники, богословы... Заполняют белые, так сказать, пятна на карте действительности. Творче-

ски достраивают на основании опыта, а нет его — так заглядывают фантазией в неизвестное. Объясняют непонятное понятным...

Смелые гипотезы звучали так: «Слышь, Сёка, а он, учительницу эту, наверное, шпи-и-и-лил! Но нам же нельзя такое рассказывать! И он все вот это, что... ну, про любовь... выдумал!»

С тех пор герой неизменно бывал крайне одинок. Какое обстоятельство нисколько не беспокоило аудиторию. Лишь девочки иногда словно ждали чего-то, но «молодая учительница», по-видимому, так и не рискнула еще раз появиться на виртуальных страницах импровизированной повести о настоящем Человеке с Широко Расставленными Зубами.

А как же сам папаша?

О любви к моей матери рассказывал мало — видно, считал, что мне и так понятно.

Он стоял в толпе студентов. Она прошла мимо, а потом вдруг обернулась. Через какое-то время вдруг обнаружил себя в парке. Как спустился на первый этаж, как вышел на улицу, не помнил. Такова была первая минута этой любви.

Последней не было. Мы говорим о чем-то, что именуем смертью, применительно к чему-то, что именуем человеком. Бессмысленно перегружать эту схему еще одной топорной концепцией.

Зато я могу попытаться рассказать о чем-то очень простом: его уже перевели из реанимации в обычную палату — умирать. Никого не узнавал, не реагировал на сигналы из внешнего мира. Лежал неподвижно, глядя неизвестно куда. Grimаса боли иногда искажала лицо. И вдруг улыбнулся восторженно, протянул руки, попытался приподняться — я невольно обернулся. Но она не могла уже оказаться тут. Во всяком случае, я ее не увидел.

Надо бы рассказать еще: как-то поздним вечером, в старом парке, у памятника поэту-демократу повстречался ему профессор, преподаватель родного пединститута. Отвел в сторону, где свету поменьше, а прохожих пореже, и тихо спросил:

— Вы, ведь, простите, кажется, встречаетесь с ...?

— Встречаюсь!

— Вы ведь всё знаете?

— Знаю...

— И все же... думаете соединить с ней свою жизнь?

— Если она только согласится!

— В таком случае позвольте пожать вашу руку! — Профессор быстро и тихо попрощался, нервно оглянулся и ушел. Его фигура то возникала в желтом свете лунообразных шаров-фонарей, то исчезала в густой тени.

Подумалось тогда, что профессора весь последний год только и делают, что исчезают. Навсегда, по-видимому. Еще подумалось о семье врага народа, с которой предстояло тесное сближение, и о его, врага, неминуемом и никакой силой неотменяемом грядущем уничтожении.

Об имени-фамилии, звучащей в долгом перечне подонков-предателей из черного сиплого раструба, слышимой прямо сейчас в каждой квартире каждому человеку...

У папаши, кстати, зубы были обыкновенные. Красивые даже. Но и правда, между центральными резцами верхней челюсти был небольшой зазор, и он как-то признался, что в школьные годы ловко плевался благодаря этой своей особенности.

И откуда он только взял эти самые широко расставленные зубы?

Этого я так и не узнал.

Короче говоря, любил одну. Остальные не считаются. Выскакивали вдруг на периферии моего ревнивого зрения какие-то студентки, пылающие страстью инструкторицы детского туризма, сотрудницы различных пришкольных учреж-

дений и молодые учительницы — и пропадали через какое-то время. Видимо, «ветер странствий» уносил их «вдаль». И там они выходили замуж. А может, разводились.

* * *

Я ковыряю в ухе. Оттуда вываливаются куски каменного угля. Совсем маленькие колючие кусочки. Черненькие такие, тускло-блестящие. Такие же густо усыпали простыню. Все черно. Сажа веером разлетелась из щели, ибо окно закрыто неплотно. Кисть левой руки отвратительного серого оттенка, ладонь же осталась розовой — как у негра. За окном дым стелется по земле, обдает черным зелененькие елочки и всякую разномастную придорожную растительность. Все это означает, что минимум полночи, с тех пор, как я закрыл окно, мы ехали на паровозной тяге.

Я умываюсь в загаженном туалете. Вагон раскачивается, болтается мое лицо в зеркале над умывальником. Лицо отмывается плохо. На вафельном вагонном полотенце остаются черные полосы. Я выхожу в любимейшее, демократичнейшее в вагоне место — тамбур! Дым паровоза придает всему какой-то отчаянный, бедовый оттенок. Словно не поезд, а бронепоезд. И догоняют какие-то козлы верхами. А я в них из нагана. А может — из обрезка?

Кому, кому интересно? Что ж, пусть это вы, читатель, — пожилая пассажирка, а я — желто-седой жирноватый мужик в пиджаке, надетом поверх меховой безрукавки. (Вам показалось бы, что у меня под пиджаком бронежилет.) Мы едем в вагоне, я рассказываю Вам историю своей жизни, а Вы отщипываете от исщипанного батона кусочки и кладете в напмаженный рот. И запиваете чаем — в толстостенном граненом стакане. А потом ставите на стол — и стакан дрожит в своем подстаканнике, и дрожит в нем дрянная алюминиевая чайная ложечка. И вам интересно слушать мою историю — за белым батонном и сладким чаем. И вы шевелите влажными пальцами

в тесных дамских сапогах и вдыхаете запахи плацкартного вагона, и у вас своя жизнь — но вы-то ее не расскажете. Но могли бы рассказать. Почему бы вам не сделать этого, как делаю я, то бишь мужик в пиджаке?

У нас тоже пьют чай. И галдят — все одновременно. Всем безумно весело. Едят халву с тем же батоном. И тоже рвут его руками. А халву берут с коричневой мятой бумаги, прямо из кучи. Халва подсолнечная, на бумаге масляное темное пятно. На втором этаже, на откидных полках набилось народу. У них там та же халва — на газете. Чай они пьют, согнувшись в три погибели, раскачиваясь, роняя вниз липкие крошки... А над ними, под самым потолком, на багажных полках, на третьем этаже, лежат по двое. Тем и вовсе не приподняться. Полное блаженство — мы, все вместе, в одном плацкартном «купе», и сбоку, в торце тоже наши! И все это раскачивается, гогочет, хохочет, выкидывает разные штуки — повеселить других и себя самого.

Я не целую Т. — я же влюблен в О.! Это зафиксировано в моей тетради. Буква «Л», с которой начинается ЕЁ имя, написана особым образом. Кроме того, слова, в которых есть эта буква, я (ценою собственной успеваемости!) не подвергаю синтаксическому разбору. Это началось еще в четвертом классе, еще задолго до О. Учительница велела не подчеркивать слово «Ленин», хотя он и был «подлежащее». И его необходимо было подчеркнуть прямой, а сказуемое — волнистой. Дополнение — пунктиром. Дальше не помню...

Ленина нельзя было подчеркивать. Тем более — разбирать. Он был наш вождь. (До третьего класса он был дедушкой.)

Короче говоря, разбор и подчеркивание несомненно являлись процедурой постыдной, посягающей на сакральные качества объекта. А О. именно эти качества символизировала. В ней было что-то величественное. Правда, лишь для меня одного. Некоторые в ее обществе вели себя непочтительно. Даже развязно. Хватали за разные места. Я не смел. Хотя мне очень хотелось!

Т. наваливается — грудь хоть и маленькая, но уже есть, а еще малиновые, губы, прыщи... И ей очень хочется, чтобы в нее влюбился, например, я. Хочется быть нужной кому-нибудь. Чтоб о ней кто-нибудь думал. Может, даже страдал. И ей хочется целоваться — мне тоже. Вместо этого я делаю серьезное, озабоченное лицо и ухожу в вагон — к папе. Бедная Т.!

Я — совсем как папа! Наихудшие вещи образуются у меня именно тогда, когда я думаю, — о том, как стать лучше.

* * *

В поисках (почти сознательных) собственного «коллективного бессознательного» я склонился к индивидуальному туризму. Хотелось уйти не только подальше в лес, но и, по возможности, от всяких культурно-наследуемых идей. Таких, к примеру, как карта, компас, запас еды. Для выбора совершенно случайного района путешествия я, как-то (под действием алкоголя и никотина), тыкал в карту СССР вилкой, но все время попадал в какие-то райцентры с подозрительно индустриальными названиями. Имея за плечами значительный опыт, живо представлял себе камвольный комбинат, чесальщиц и прядильщиц, бредущих после смены по улице Энтузиастов, обгоняющие их грузовики марки «Зил-120 Г1» с увеличенным прицепом, ямы с пульпой и прочее такое, вроде мужика в тулупе с брикетом мороженой трески подмышкой. В конце концов, я сдался, и внес в подготовку какую-никакую логику и заранее предустановленный смысл — сделать все как можно более бессмысленным.

Передо мной был несчастный отец. Уже полуседой и встрепанный. Дрожащий. Таким я его не видывал. Все его страхи, сознательные и бессознательные, все тайные молитвы, что шептал он, все тяжкие сны, все, что накопилось за тридцать с лишним лет хождения во главе малорослых шпаргонцев по лесам, болотам, горам и пустыням, — все взорвалось и прорвалось в беспомощных криках и деланно-спокойных беседах. Без конца и начала.

Трудно даже представить, что он вынес.

У него никто не разбился, не утонул. Не сломал даже ногу. Так, чепуха одна — вывихи, поносы, легкое сотрясение мозга, аппендицит. Он все и вся многократно проверял и перепроверял, за всем следил, страховал и перестраховывал. Доверенных и доверившихся детишек.

И все, что не случилось, что могло и должно было когда-нибудь случиться, спроецировалось на сына.

— В горах не ходят в одиночку! — кричал он. — Тем более, такие идиоты!

(Я-то думал, что его заинтересуют мои планы! Действительно, идиот.)

Если бы он только мог взглянуть на себя самого — своими глазами, перемножить количество учащихся-участников на снег и лед, горные реки, полярные морозы и пятидесятиградусную жару, глупость, храбрость и неопытность, на тундры и пустыни, на все годы и дни — и получить безумное число...

— Кто же ты сам? По своим собственным меркам? — хотелось мне крикнуть в ответ.

Разыгрывалась трагедия Шекспира. Отцы любят тех, кто на них похож, — не тех, кто уходит по их пути, — уже непохожий.

Я не был Гонерильей-Реганой. Свою Корделию он не разглядел.

К тому времени я вообще ему поднадоел — непробиваемым упрямством.

Запихнувши в бязевую наволочку шерстяное одеяло, консервную банку с проволочной ручкой и еще кое какие мелочи, однажды «углубился в горы» и шел, пока не заблудился. Пока окончательно не потерял представление о том, где я и где что. Чудесный желтонаволочный сидор, укрепленный на плечах с помощью бельевой веревки, верно позиционировал меня в среде аборигенов — они не спешили мне навстречу. Кое-кто даже обходил. А потом и дороги исчезли...

Ах, красна смерть на миру! Когда мрут все скопом.

И страшна своя, «ни за понюшку табаку», на свой выбор, за свое, никому не близкое!

«Погиб как дурак» — о некоем презревшем товариществе путешественнике, «бесцельно отдавшем жизнь».

«Ну что, козел? Добился своего? Теперь непременно уже свалишься вниз, и над тобой посмеются!»

Под сводами моего ужавшегося воображения мелькали серьезнейшие люди в штормовках, надетых поверх пиджачного костюма. Угрюмо посверкивал знак «Мастер спорта», привинченный к провисшему от тяжести лацкану при помощи массивной медной шайбы. «Ну вот!» — разводили они могучепалыми руками.

Мне слышались горькие матюги сотрудников горноспасательной службы, пакующих оставшуюся от меня гадость в полиэтиленовый пакет.

Брезгливо ухмылялись егеря и лесники, цыкали на собак, норвящих вываливаться в «этом самом».

Муравей без муравейника. И никто не узнает.

К страху привыкаешь — такой воздух, только погуще. Плынешь в нем, перестаешь замечать. Вдруг хватает за плечи. Никогда не попусту, не спроста... Надо только понять, что втолковывает. Через неделю-другую опасаясь страшнейшего — потерять его, не расслышать.

Как-то раз даже увидел — впереди, в мелкой водяной взвеси остановилась слишком знакомая темная фигурка, обернулась...

Там был узенький кулуарчик, подозрительнейшие уступы предлагали опору в изглаженной камнепадами щели...

Бегу назад, к реке! Чуть было не потерял — тот берег, совсем другую жизнь!

Почему обязательно — утонуть? Минуту назад холод пробрал до костей, от слабости голова закружилась... А теперь — ничего, даже жарко!

Течение валит, отрывает ноги от каменного ложа, уцепиться не за что...

А вот травка зеленая, солнечное пятно поползло, и тропинка!

За рекой сутулая тень побрела назад, в коридор, к обитой дерматином двери — с маленьким стеклянным глазком в медной оправе.

На перевале побывали туристы. Оранжевый кусочек фотопленки — видимо, фотографировались на фоне снежника. Вывороченные камни, меж ними угли, обгорелый хлеб. В стеклянной банке остатки варенья. Заливаю водой и выпиваю — нектар! Спасибо, мои неизвестные друзья! Через пару часов нагнал их — белобрысых и белозубых. За могучими спинами гигантские чувалы. Все как один в шортах. Напоминают пионерское мое детство. Судя по говору — москвичи. Фотографируются на фоне покоренного перевала. Принимают меня за бомжа. Брезгливо освобождают тропу. За спиной у меня старая наволочка, увязанная наподобие сидора. Громадные дыры на локтях. Подсохший длинный струп на голове. Поспешным тараканом проползаю мимо — там стоит мрачноватый старик с клюкой. Отходит подальше, к своим овцам.

Сажусь на камень. Забавная сцена — теперь они идут мимо меня. Топочут горными ботинками, издают запах мыла, энергично обмениваются впечатлениями. Снисходительно кивают старику. Тот долго жует беззубым ртом, а потом сплевывает им вслед.

Вполне воспитанные люди, положительные, надежные, должно быть, отличные товарищи — друг другу. Не гадят, убирают за собой. Ну, банку разве что оставили, забыли, наверное. Почему так хочется поскорее позабыть их строй, улыбки, говор, запах?

Надо бы снова догнать их, догнать и перегнать. Пока они не вспахали все вокруг своими ботинками, да разве убежишь от них? Надо свернуть... Куда?

Коровы почему-то любят лежать на дороге. Любят, чтоб горизонтально располагалось их тяжкое женственное тело. Медленно поднимаются они — сперва на задние ноги, — раскачивая раздутое розовое вымя, потом на передние, сонно вздыхают. Что пугает их? Выражение лица? Может, походка? Невегетарианца запах? Может, чувуют, что я за сволочь?

Голова кружится — интересно, сколько это дней не ел?

В черепе зажужжали голоса. Давно забытые, казалось, ситуации, споры, беседы...

Что-то доказывают, требуют немедленного ответа.

Временами ловлю себя на том, что, усевшись на камень, веду с ними бесконечный диалог, хожу кругами вокруг давно пережитого (непережитого?), ищу новые, сильнейшие аргументы, мысленно совершаю новые (не как тогда) поступки...

Тело вдруг потеряло вес, сорвалось, невыносимо плотная масса раскрутила и швырнула. Стало темно.

В правой руке — мокрые камешки, в левой — какой-то черный прут, не то корень, не то ветка, — непонятно, где я за него ухватился. От воды отполз — не помню, как! В голове гудело, голову долго щупал — от темени до лба уже набух болезненный гребень, по мокрым рукам расплывалось красное. Вскочил — испугался, что унесло сидор.

Сидор оказался на спине! Из него текло...

Обнаружилось — ноготь среднего пальца обломан, там краснеет живое мясо.

Тут же заболело колено. Снял одежду, выжал. Уразумел, что весь в шибах и ссадинах.

Оделся, решил двигаться — и тут же сел, потом лег — навалилась слабость. Решил полежать, но задрожал от холода. Снова встал и пошел.

Вот тут все и происходит... Растрескивается каменная кожа. Рушатся с неба воды, устремляются в извилистую рану, грохочут по ее изгибам, хватают обломки и мчат их за собой. Год за годом камни скребут и полируют ложе, подтачивают и рушат скальные берега, уносят на серебряных хребтах горы щебня...

Уходит вода, солнце накаляет скалы, сохнет и трескается на дне глина, изгибаются нежные желто-бурые черепки, а по ним цепочкой пятипалые следы — ящерица.

Встает на задние лапы и дает всему имя...

Временами наступает тишина. Какой-то ровный звон без слов. Камни приобрели выражение лица.

Скалы тоже. Склоны, впадины, ручьи, гряды, камней, вход в ущелье... Кто зовет, кто мрачен, кто благословит издали...

Крошечная не то щель, не то пещерка. Но спать можно — только бы не вертеться во сне. А если вывалиться, то метров двадцать лететь до речки. Или до мокрых гладких камней. Зато дождик не беспокоит, барахло за ночь подсохнет... Заснуть вот только тяжело... Сам себя пугаешься, своего тела, бесчувственного во сне... Надо расслабиться, довериться. Кому-нибудь. Вот этим, которые вокруг. Этой, в чьем брюхе я засыпаю...

Не уследить за ногами. Сами несут с валуна на валун, вцепляются в неровности склона, перемахивают через ручей.

Сердце — то звонче, то тише, ветер дыханья свистит — опекает подъемы и повороты, тело ведет бесконечный танец — камней, расщелин, осыпей...

Под вечер, у костра, ноги гудят — вспоминают. Ворочаются и приплясывают во сне. Сомкнутые глаза снова видят путь. Завтрашний? Разве сон — не тот же напев?

Самое дорогое на свете — камнеломка! Ее пальчики-бочоночки наполнены сладчайшим энергетическим лимона-

дом! И она тут растет повсюду! И еще грибы — хотя и редки. Можно сырыми. Запах говорит обо всем — иногда отпугивает. И еще какие-то стебли — кажется, борщевик.

Приторно, но вкусно.

Крышу уже основательно снесло... Временами кажется, что я вижу пересохшее русло, сероватые кустики полыни и себя самого, бредущего по песку, вижу откуда-то издали, со стороны...

Ящерка, ящерка... Хвостик отбросившая... Беспамятливая... Хорошо тебе?

Отсюда, с перевала, они видны все. Желтеют сухие колючие спины, тянутся плоские животы... Земля нага — до самого горизонта. Я иду по твоей спине, спускаюсь на плоский живот твой... Впусти меня, темная потаенная морщина, не отсюда ли я вышел когда-то на свет. Вот они, твои каменные ребра и позвонки, и смотрят отовсюду твои бесчисленные глаза... Говори, говори со мной...

И гудит, гудит в голове — речь без слов, а может, лишённые смысла слова, — просто знакомые звуки, а смысл незнаком. И слепящее сверкание, какие-то блики, искры золотые, — может, камни отсвечивают?

Что-то там вьется внизу. Или кажется? И правда — дорога. Когда я вернусь (а я вернусь!), то буду ночевать, где захочу, под любой сосной, на лестнице, под лестницей... Как я раньше не понимал?

Я иду у самых морд, они меланхолически смотрят, не прерывая своей вечной работы. Они больше не боятся. Громадные животы покоятся в густой пыли. Нижние челюсти смешно ходят туда-сюда, стеклянными нитями тянется слюна. Их дыхание, шерсть, самый воздух вокруг — все одуряюще пахнет молоком.

В конце концов, однажды «непроходимые дебри» окончились, и возникла передо мной железнодорожная станция. Дело было ночью. Желтела под невысоким потолком одинокая лампа. В углу стоял бак с водой. Я отвернул было краник, но не потекла вода в подставленную ладонь. Стакан, разумеется, кому-то пригодился и, вероятно, уже разбит. Лежит, видимо, где-то в ближайшем нужнике, и не отражается романтично в его осколках свет проходящих поездов. Я наклонил бак, и он показался мне достаточно тяжелым — но и тогда ничего не полилось. Там был лед. О чем можно было бы догадаться по количеству и густоте белого тумана, вылетавшего из моего рта. Мертвецкая тишина наполняла пустое здание. Бледно отсвечивали его промерзшие окна. Чисто выметенный пол угнетал. Метла уничтожила всякие следы живого: мокрые отпечатки сапог да валенок, плевки, яичную скорлупу и мятые бумажные стаканчики — лишь под столом сиротливо белела пара-тройка окурков. Я поставил на пол чемодан, присел на дощатую лавку, прикрепленную к стене толстыми железными штангами, и до меня дошло: пустыня повсюду. Отныне она со мной, где бы я ни был. Где-то тут, за белеными инеем окнами, «привокзальная» площадь. Махонький такой пустырек, а на нем вмерзший в снег грузовик с провисшим до самой весны брезентом, сугробом на кабине и подбитым боковым стеклом, сквозь которое намело в кабину все того же снегу. А за ним, за черным столбом с фонарем в железном колпаке, дома-домишки, а в них — народ, люди. И там, через две-три улицы, у мусорных куч, занесенных нынче до полной невидимости, кончается поселок. Ввиду начинания в непроглядной тьме «белого безмолвия». И что на деле никакого «белого безмолвия» именно «там» нету, потому что оно тут ...

Любой встреченный скоро исчезнет за горизонтом: не пространства, так времени. Которого мало. Интуиция, инстинкт самосохранения, не оставляет места для суждений.

Быстро (за какие-нибудь секунды? годы?) приходится решать — друг или враг. Идти с ним или бежать без оглядки. Стараясь в кратчайшее время увеличить расстояние, как можно скорее сделать его непреодолимым хотя бы в одном направлении — от себя.

Кругом — пустыня. В ней необходимо делиться — необходимей воды! Самым сокровенным. Ввиду неизбежного самопозиционирования на шкале «человек-шакал». Но где же, на каком этой шкалы полюсе наше с вами добро? Я Вас спрашиваю, дорогой читатель. Ибо не знаю...

Так примерно и окончился мой туризм — детское, по сути своей, занятие...

* * *

Бывший сов. педагог, «зачинатель и фундатор детского туризма» (так дразнили друзья-товарищи), исчез. Разве что душа его витает где-то над березово-сосново-еловым пространством-временем.

Изрядно постаревшее тело, волею судьбы и вопреки желанию, перенеслось на историческую родину.

Эта новая, удивительнейшей красоты и строгости пустыня, была частично уже застроена: развалинами древней цивилизации и новыми, пузырящимися весенней молодостью городами. Государству перевалило за семьдесят — возраст, когда основатели вот-вот впадут в маразм, а новые идеи формируют эмбрион когда-нибудь (как знать?), возможно, еще способной зацвести оригинальной культуры.

Эмбрион уже пытался решать свои эмбриональные вопросы — «делать жизнь с кого». Огненноглазый бизнесмен с толерантной улыбкой пихал локтями покрытого тысячелетней пылью носителя Талмуда, а тот, брызгая желтой слюной, требовал диктатуры раввина, примата синагоги над государством и стопроцентной женской стыдливости. Оба

гордились своей фамилией: Коэн. Представляли в международных организациях богоизбранный народ. Топча друг друга, боролись за место в Кнессете...

Папаша тревожно и недоверчиво оглядывал пейзаж. Присматривался к народу. Марокканцы-курды-ленинградцы-эфиопы-грузины-бухарцы-мексиканцы. Хохлы. Был даже один индеец — из Перу. Все это кипело, улыбалось, галдело, топотало и шаркало. пило водку, арак, ликеры «Драмбуй» и «Пина колада», виски «Блэк лейбл» и воду из крана, харкало на пол и стоя читало Борхеса в автобусе. Продавало друг другу часы «Командирские», а также «Гербалаева» и «Санрайдер». Спешно дописывало диссертацию о динамике нестандартного переноса в замагниченной плазме. Отмывало деньги и выпрашивало льготные ссуды.

И все они были родной народ. И чем-то не удовлетворяли. Обманывали ожидания. Развеивали пусть наивнейшие и безосновательнейшие, но необходимейшие каждому на свете человеку надежды. Вопреки долгой жизни опыту. О его, человека, нужности другим. О существовании — да, где-то очень далеко! — за морями-океанами, на Марсе-Юпитере, в иных галактиках, пускай, — но существ более человеческих, чем ты сам.

Когда-то папаше было 14 лет. При нем были старики-родители и сестра. Они бежали из Малина в Киев, оттуда на Кавказ. В дороге их бомбили... Он видел, как среди опрокинутых вагонов, на шпалах, валялись разноцветные человеческие внутренности. В Махачкале месяц просидели под открытым небом у причала. Вещи свои растеряли в дороге, деньги проели. С Кавказа на Красноводск, а оттуда — на Чарджоу.

Вышли они летом, пешком, а когда прибыли, стояла зима. В желтых водах Аму-Дарьи с треском сталкивались льдины. Там, на палубе старой разбитой баржи, они выпросили воду, в которой другая семья варила картошку, и пили этот отвар. Потом через пески — на запряженной верблюдом арбе...

В этом «отдаленнейшем районе земного шара» как раз и обитали эти самые... От слова «кум» — песок.

Ислам они понимали по-своему. Песок и песок, а воды мало. Травы тоже. Дорог верблюдов, ослик, дорога самая последняя овца. Человек может остаться без всего и скоро умереть. Человек нуждается в человеке. «Пришелец — посланец аллаха». И все такое прочее. Насчет помощи друг другу. Последней лепешки и глотка воды. Перед лицом грозных сил природы, которые, может, и бывшие, но тоже боги. В крайнем случае — духи. Злые. Но и добрые тоже. Всякие... И с ними надо похорошему. С уважением. Они тут повсюду. А «алла» — на небе. Но, конечно, все оттуда видит. Хорошим помогает, плохих знать не хочет. Пойдет плохой в пустыню, и тут злые духи его... Короче, злодею не жить. По крайней мере, долго.

Кумли, собравшись небольшой толпой, постояли сколько-то, разглядывая чудных пришельцев, заморенных и дражных, в тени верблюда сидящих, руки сложив на коленях худых. И слова не говоря, понесли им воду, еду, одежду.

И пришельцы не умерли.

Папаша все запомнил. Может быть, эти несколько лет на «краю земли», во время самой страшной войны, и были лучшими в его жизни. Во всяком случае, он сам так считал.

И теперь, стоя в гудящей толпе у генерального офиса Сохнута, он вопрошал, вознося к небу руки «О, где вы, мои дикие, темные жители Каракумов?» На него оглядывались. Как обычно, крутили пальцами у виска. И тогда он продолжал: «Стоило ли евреям уходить из пустыни?»

Он не верил ни в какой мере государству, не умел оценить помощи, получаемой из рук чиновников. Ему хотелось обрести ее от людей незнакомых. Чтобы к нему кинулись прохожие на улице... Именно такого родства ему хотелось.

Прошли годы. Государство с человеческим лицом поселило стариков в специализированном поселочке — под вра-

чебным и социальным надзором. Старики сидели на скамейках, по мере сил учили «Тойре» в русском переводе, играли в домино, пили водку, закусывали таблетками... Вели хронические беседы о «там» и «здесь», о бесконечном прошлом и коротеньком будущем, о боге, о «левых», о «правых», и о неправых, и о партии... Каждый имел свою любимую партию — это была непостижимая роскошь. Многие на радостях даже куда-то вступили. Впрочем, мало кто сумел бы связно выразить свое политическое кредо... Тем яростней были споры — до ссор, до слез...

Некоторые надели кипы. Кто черные, кто белые, кто вязаные... Кипы тубетейкообразные бухарские, четырехсегментные белостоцкие, имени рабби Нахмана Брацлавского, — с антеннообразной кисточкой на темени.

Запредельной мудростью засветились лица...

Семидесятилетние снова встали перед юношескими вопросами: «Кто я, с кем я, против кого я?»

Никого уже не удовлетворяла включающая все ответы формула «я еврей!»

Вокруг были нахохлившиеся люди, которых больше не объединяла «пятая графа».

Даже мусульманская угроза порождала лишь нервные дискуссии о том, как именно надо защищаться.

В крошечном мирке, соединенном с реальностью лишь убогими газетками и телевизором образовались свои «политические группы», «религиозные направления» ...

Многим тогда импонировал лозунг «Мир — сегодня!» Хотелось успеть...

Но «Шалом — ашав» никак не получался. По старикам кидали ракеты «Скад» — из Ливана. Ливан был виден из окна. Старики укрывались в бомбоубежище. Это им было не в новинку. Им даже создали все условия. В убежище появился телевизор, и они могли увидеть на голубом экране, как их обстреливают. Разрешалось приносить водку и закуску...

У них были дипломы, звания...

О, они умели изъясняться! По-русски, на языках венгерском, литовском, польском и румынском, на французском и двух английских, на языках народов Кавказа и Средней Азии, на турецком, на ладино, на своем любимом «идише»... Юные добровольцы-переводчики ходили с ними по врачам и адвокатам. Ибо древнего, исторически родного своего языка, они так и не осилили.

Поселочек имел даже свои органы самоуправления, что-то вроде стариковского кнессета. Там вели бурные споры, вырабатывали «внешнюю политику». Боролись за приватизацию домиков. За самостоятельность. Пародировали, по мере возможностей, происходящее в «большом мире». Болели, так сказать, общечеловеческими идеями. Помимо недугов возраста.

Происходило расслоение — новоявленные мудрецы сидели у синагоги, политики — в крошечном сквере у почты, он — в своем садике. Там уже поднялись насаженные им кипарисики и сосны, весной расцветало миндальное дерево.

Всю жизнь бродил: по дорогам, тропам, едва заметным тропинкам, и где никаких тропинок. А теперь блуждал уже там, где нет никого. Лишь ты сам — и еще что-то...

Стал молчалив. Слова высохшие, приземленные, о самом простом, будничном...

Правый глаз потемнел, дымчато-голубой цвет его сменился на яшмово-зеленый, словно кто-то выглядывал из темноты, где до поры скрывался.

Трудно было узнать его.

«Старый и больной, Человек с Широко Расставленными Зубами подымался по крутому склону. Кругом расстилалась безжизненная, вдруг ставшая неприветливой пустыня. Внук ковылял следом. Они давно уже заблудились в этой незнакомой стране, их окружали призраки. Вновь и вновь проносились мимо сверкающие автомобили, но никто не останавливался ради старика и ребенка. И тогда он понял — это мираж».

На самом деле это был никакой не мираж. В сверкающих автомобилях сидели не призраки. Призраки-то, может, и посадили бы к себе в машину неизвестно кого, а эти, совершенно живые люди, лишь настороженно зыркали на бредущего вдоль шоссе растрепанного старика с грозно-непримиримым выражением лица и маленького мальчика с не по-детски большим рюкзаком, вцепившегося в его руку.

Пейзаж не располагал к дешевому человеколюбию: слепящий глаза песок под безжалостно синим небом и невообразимые жилища из ржавых бочек, кусков разноцветного брезента, обрезков труб и прочего подручного хлама. Здесь обитал свободолюбивый народ Палестины. Мог метнуть камень в лобовое стекло. Или еще что-нибудь похуже...

Я старался мило улыбаться проезжающим, но, видимо, эта-то улыбка их и пугала. Во всяком случае, увидев мои зубы, они увеличивали скорость.

Хорошо помню тот самый последний поход. Недолгий и грустный. И все же он успел показать «детям» диких коз, газелей, даманов и пустынную сову. На закате, как положено, завывали шакалы. Горел костер.

Собственно, на этом все и закончилось — во всяком случае, в рамках этого повествования.

«В конце концов, люди поймали Человека с Широко Расставленными Зубами. Много раз пытался он бежать, но его накрепко привязывали к железной кровати мерзким белым тряпьем, втыкали в тело иглы, вливали через трубки воду (а он хотел умереть от жажды!). Пустыня была рядом — за окном, но он не мог даже встать и взглянуть на нее. В легкие ему накачивали отвратительный, пахнущий железом и пластиком воздух, а он по-верблюжьки мотал головой, и маска летела в сторону. Но они снова надевали ее... В детородный орган воткнули длинную зеленую змею с птичьей головой, и змея эта причиняла неопишуемые страдания. Однажды он сумел освободи-

дить руку и вырвал ее из своего тела, и тогда медленная старческая кровь залила все вокруг. Его пытали молодые женщины, он никогда не думал, что их ласковые руки могут причинять такую боль. Иногда он видел лицо своего сына и кричал: Помоги же! Развяжи меня! — но сын делал лишь неясные жесты и смотрел в сторону. Это был все тот же мираж».

Тускнел больничный свет. Сгущался воздух. Стали различимы затемнения и затвердения. Душногрудый ребенок-скелетик с раскрытым по-птичьему ртом устало сунул себе в рот трубку кислородного аппарата, шлепнулась на пол бледная тряпка с плевком туберкулезной пузырчатой слизи, зажелтела расколота вдоль длинная берцовая кость, захрустели колючие камни в розово-красной почке, и невыносимо плотный комок-спрут впился в ореховые завитые полушария.

У него было воспаление легких, воспаление мочеполовых путей и рак крови, ему уже давали кислород и морфий, а он все жил. Я сам видел, как дрожали и гнулись металлические трубы кровати, когда он рвался из узлов, и я был рад, когда все кончилось.

Человек с Широко Расставленными Зубами лежал на спине. У него действительно оказались широко расставленные зубы — страшные, одинокие, в окровавленном разбитом рту. Его накрыли простыней, и он стал похож на горный кряж, выветренный и засыпанный снегом.

Медленно летел над ним старый желтый У-2, прильнув к оконцу, я видел скалистые вершины, ущелья, уступы и осыпи, по которым ходили вместе, и прощался, зная, что вижу все это в последний раз.

Говорят — каждый человек есть какая-то весть...

Неужели и он тоже — Человек с Широко Расставленными Зубами? О чем же возвестила его жизнь? Я думаю, о счастье. Для которого ничего не нужно — кроме тебя самого. Весть о том, что нет ничего, что можно было бы у тебя отнять.

За моим окном та же пустыня. Совсем неподалеку, в Ливане, бегут, стреляют и валятся в песок. Видимо, ничего иного им не остается. Там еще не разобрались до конца «кто за кого». А может, все это неизбежно: бежать, стрелять и валиться в песок.

Тут прекрасный вид: каменистый голый склон, на нем — покрытые толем халабуды, пара осликов и стадо бурых овец. Бедуин стоит у дороги, подперев себя палкой. За холмами Мертвое море, а за ним — Иордания. Розовые горы над ослепительной синевой. Интересно — как скоро перепрыгнут через вон те камни и побегут сюда люди в пятнисто-песочной одежде с черными трубками в руках...

Я включаю что-нибудь электронное и слушаю. Никто не предлагает решения, по крайней мере всерьез. Так, пантомима мирного процесса... На голубом экране идет борьба: с террористом, серийным убийцей, взбесившимся торшером. Нет новых идей о лучшем мире с тем же человеком. Появился шансик прожить ближайшие 10–15 лет при локальных лишь конфликтах. Вряд ли предстоит распыление на элементарные частицы при помощи рукотворного апокалипсиса: максимум, сгорит родная хата вместе со всем содержимым. Ну, нас не будет. Но хоть трава-то вокруг уцелеет!

Я люблю смотреть на сидящих у огня издали — откуда-нибудь из-за ближайшего камня. Голоса сливаются в приятный человеческий гул — лишь смех различим, а с ним — несерьезность, доброта...

Как-то еще совсем ребенком заглядывал в бочку с дождевой водой. Дело было на даче, и делать было нечего. Я был один. Взрослые играли в карты и разгадывали кроссворды: «великий русский советский химик из восьми букв». Много спали. А я смотрел в бочку. Там было на что посмотреть: там извивались черные коленчатые палочки, наворачивали круги

глянцево-черные катерки, выныривали из глубины головастики. Я ходил к бочке — это была такая игра. Я следил, как она живет и развивается: растут головастики и матеруют черные палочки. Я ждал — в бочке обязательно заведется рыба: какие-нибудь мальки ...

Однажды я разглядел микроскопические зеленые точки — они так красиво вспыхивали в солнечном луче! С каждым днем их становилось все больше, больше. А потом вода позеленела... Бочка была не такая уж большая — меньше меня ростом, хоть и стояла на кирпичках. И вот раз, когда я утром прибежал и, встав на кирпичи, заглянул, как водится, внутрь, в лицо мне ударил пугающий запах. Вода стала темно-бурой, жуткого такого цвета. Она умерла. Погибли все жучки-головастики, катерки, водолазы, коленчатые палочки... Сама зеленая сволочь тоже сдохла. Ее слишком расплодилось. Она пожрала все. Выпила весь кислород. А вода без кислорода жить не может. И осталась лишь бочка. С мертвой водой. Воючая ржавая бочка на трех кирпичках.

Детские травмы неизгладимы. Бочка несется в пустоте по унылой эллиптической орбите. В стоячем на трех своих кирпичках положении — и смердит на весь космос.

Плевал я на космос. Головастиков жаль...

Как тяжело — мы и есть это самое. Я — зеленая сволочь. И нет от меня спасенья никому и ничему...

Что же ты, Господь-Цеваот? Что ж ты столько наобещал, зачем так радовал... А теперь чего? Почему кругом простор, а в даль не тянет?

Тут ведь невиданное: персики поливают соленой водой — и они становятся сладкими. А может, это вполне естественно? Совсем, как люди! Или вон, энгединская змея: схватишь ее за шею, а она вывихнет себе челюсть — но укусит. И смертельно-ядовито. Тоже понять можно... Здесьние мыши

похожи на мелких чертей. Вроде тех, что сшибал со стола один покойный ныне юный турист во время приступа белой горячки: со свинными рыльцами и ослиными ушками.

Сидя на скале, я гляжу на пейзаж в безнадежных попытках примирить. Не хижины с дворцами — небоскребы с небом. Суetyщихся разноцветных муравьев с рыжим песком, на котором они возводят. Себя самого с собой же. Во рту у меня нераздвижные искусственные зубы работы доктора Гиршбейна. Старческой, но верной его рукой ввинченные в обе мои челюсти. Выпущенный сквозь них плевок летит куда-то вбок и моментально высыхает на раскаленном камне, оставив по себе память, — крошечный желтый комочек. Считать ли несколько склеенных человечесьей слюной песчинок артефактом? Или это вполне природный объект? Как и вон тот ослепительно-цветистый островок над Мертвым морем, где «роскошные отели предлагают Spa-процедуры?» Само мое тело, как я заметил выше, уже содержит искусственные органы, медицинская наука стремительно идет куда-то, и как знать, сколько еще успею-смогу я с ее помощью в себя вжизвить (вмертвить?), пока это будет еще иметь смысл. Стало быть, и я уже ни то, ни сё...

Незадолго до смерти отец одарил окружающих еще одним замечательным изречением. Окружающие потеряли оптимизм. И неудивительно — в палате интенсивной терапии. Кроме всего прочего, они страдали от депрессии. В глубине души понимая, что благоприятные шансы остались за дверью, — вместе с толпящимися там дорогими родственниками, друзьями, знакомыми... Каковые вот-вот соберутся снова среди демократичнейшего в мире архитектурного пейзажа, ибо еврейская религия рекомендует на кладбище не выпендриваться, и все лежат там под одинаковыми каменными плитами.

Медперсонал же постоянно улыбался — терпеливо и мужественно, стараясь вселить бодрость. А больные, точнее, вы-

здоровливающие или же умирающие, обсуждали свои проблемы. Заговаривая, в частности, как ни странно, о серотонине, этом могучем кладезе жизнелюбия, доступном теперь каждому стараниями ученых. И тут, в наступившей внезапно паузе, отец прохрипел: «Лишь тот серотонин чего-то стоит, который сам генерируешь!» — и сделал отрицающий жест обвитой прозрачными трубочками рукой.

У него тоже была песня — любимая: *мой конь притомился, стоптались мои башмаки. Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры.* Какие, к черту, стоптались, когда едешь верхом! И едет, сам не зная куда. В следующем куплете возникает непостижимый пейзаж — красная река да синяя гора. Мало того, — все это находится неизвестно где. А *ночь подступила к глазам.* И остается только: *ступай на огонь, моя радость, найдешь без труда!* И тут (если прислушаешься или поешь сам) возникает перед глазами какой-то блеск, отсвет чего-то — не больше. Хотя кругом темень. *И снова он едет...* Разумеется, *один, без дороги, во тьму. Ты что потерял?* — кричат вдогонку, а он: *ах, если б я знал это сам!*

Слова от настоящего поэта. Музыка его же, и тоже замечательная. И сперва кажется, речь идет о чем-то необычном, чрезвычайно редко встречающемся в жизни. Но с годами проясняется, что это обо всех на свете.

* * *

Когда-то, разлепив веки, я увидел над собой зеленый брезент. В крошечные дырочки сочился утренний свет. Вокруг сопели братие и сестрие. Дражайшие и обожаемые. За которых отдать все. Самые главные в жизни люди и судьбы — кем бы они потом ни стали, чем бы ни закончили. Потому как, став собой, понимаешь: никакого «я» никогда не было.

Казалось, что стоит только «уехать», как жизнь потечет так же лихо и уверенно, как в зеленой палаточке на опушке,

а отношения с окружающими построятся строем, наподобие «цепочки туристов» или даже «связки альпинистов». Трудности преодолеваются, препятствия форсируются, на сложных участках — страховка. Непроходимое обходится стороной с последующим возвращением к заданному маршруту. Всякая сволочь остается, где стояла, выкрикивая невнятные угрозы, — в мокрых валенках, без шапки и с оторванным рукавом.

Друзья-подруги будут писать — никогда не позабудут. В трудную минуту повалятся с неба — наподобие спецбригады Четвертого управления — только с добрыми детскими личиками. С верными рюкзаками за спиной. Вынесут на руках из...

Неистребимые детские впечатления не покинули меня доселе. Как же, каким образом обратился я в шестидесятилетнего ребенка-аутиста? На кого сетовать? А может, возблагодарить?

Один мой успешный друг прилетел ко мне сюда на личном самолете. Ему все не хватало чего-то в его благополучной стране. И он любил иногда попить со мной пива, сидя на ломаных ящиках. Мы устраивались на замусоренном склоне, под огромным камнем. На противоположной стороне ущелья изгибалась бетонная стена с колючей проволокой поверху. Внизу, в горячих лучах солнца, гнила свалка. Выделяла горючий газ. Кто-то из окрестных жителей поджег его, и теперь оттуда тянулись полосы вонючего дыма. Все это мало напоминало изгаженную рощу на краю другого совсем города, где молодые деревца проросли сквозь остов сгоревшего железнодорожного вагона. Но запах был схож.

Мой замечательный друг занимался здесь попытками самоидентификации. Пытался, очевидно, по возможности воссоздать картину своей юности, окружить себя сохранившимся

в наличии ее участником — мною. «Если бы у меня был еще один такой, как ты, я бы давно уже послал тебя на хуй!» — сказал я ему, подумав.

Кем бы мы были друг без друга? Что могли бы осознать в качестве себя?

Все как и было — те же стволы сосен с облупившейся оранжевой кожей, те же растопыренные шишки под ногами. Только руки и ноги были маленькими... Я не ошибся, по сути!

Разумеется, никто не пишет. Адреса не знают. А многие, должно быть, давно уже «того».

Проясняется, наконец, ответ на вполне туристический вопрос: «Кто мы, откуда, куда мы идем?» Вспоминается одноименное произведение знаменитого французского художника-аутиста Поля Гогена, никакого ответа не дающее, поскольку само и есть вопрос, — только нарисованный. Возможно, правильной было бы называть его как принято — «впечатлительным». Но тогда уже не пост-, а гипер-импрессионистом. Аутистом я его назвал по причине создания на холсте альтернативного мира. Может, правильнее было бы назвать аутсайдером — но, думаю, это слово и так тут частит.

Стоит на той картине мужик с репой в руках, а за ним хата, бабы сидят, ну и лес-лесом на заднем плане. И все как живое — будто смотришь в окно поезда. Смотришь, и не понимаешь...

Совсем как тот дядечка, который рассказывал незнакомой пассажирке о сыне, что скоро, вот-вот, только поправится, напишет. Который поджег зачем-то дом, а «щас в больнице». Которому «ничего с матерью не жалели». И смотрит в окно на штабеля шпал, ползущий назад заколоченный досками сарай, косой дворик, на белеющее белье и будку с прикованной к ней серой собакой, не понимая, — что все это такое, и зачем почему на белом свете.

И долго так сидел, а в окне уже проезжал мимо лес. А потом свернул аккуратнo газету с остатками пищи, а потом —

я видел — курил в тамбуре. У него было мокрое лицо, страшно сосредоточенное, и он шевелил серыми губами.

Время уже освобождает меня. От вопросов. От вытекающих из них целей, задач, стремлений. Точнее, они сами вытекают, а вскоре и посыплется — песком. «Кто и откуда» меркнут перед «куда». И начинает казаться, что «куда» и «откуда» говорят об одном, описывая по мере моих сил также и «кто». Остаются одни кавычки. Но это относится лишь к речи.

— Папа, папа! А куда делся Человек с Широко Расставленными Зубами?

— Отстань... Куда делся, куда делся! Кто его знает... вернулся обратно... В пустыню свою.

06.03.2014

СОДЕРЖАНИЕ

Золотой век	5
Человек с широко расставленными зубами	103

Літературно-художнє видання

СЕРІЯ «Бібліотека “Крещатика”»

Заснована у 2023 році

Григорій Вахлис

ЗОЛОТОЙ ВЕК

(російською мовою)

Макет обкладинки і верстка

Друкарський двір Олега Федорова

Формат 60x84 1/16. Наклад 150 прим. Зам. № 7011

Папір 80 офсет. Друк цифровий. Ум. друк. арк. 12

Гарнітура «Cambria».

Підписано до друку 23.07.2024 р.

Видавець Федоров О. М.,

«Друкарський двір Олега Федорова»

Адреса: а/я 24, Київ-205, 04205, Україна,

e-mail: relaks-oleg@ukr.net

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 3668 від 14.01.2010 р.

Віддруковано в друкарні ТОВ «7БЦ»

Адреса: 07400, Київська обл., м. Бровари, б-р Незалежності, 2/148

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
серія ДК № 5329 від 11.04.2017 р.



ГРИГОРИЙ ВАХЛИС. Родился в Киеве. С 1990 г. живет в Иерусалиме. Профессия — художник. Работал такелажником, грузчиком, уборщиком, охранником. Член союза писателей Израиля. Автор 14 альбомов The Temple Institute. Один из авторов проекта «Фрески Иерусалима» (совместно с Site de la Creation. Lion).



**ДРУКАРСЬКИЙ ДВІР
ОЛЕГА ОВДОРОВА**



9 786178 477011